

ЭДГАР
ПО



ЗОЛОТОЙ
ЖУК



ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Эдгар Аллан По

Золотой жук

«ЭКСМО»

УДК 821.111-32(73)
ББК 84(7Сое)-44

По Э.

Золотой жук / Э. По — «Эксмо», — (Всемирная литература)

ISBN 978-5-04-169123-3

Эдгар Аллан По – человек редкостного таланта и трагической судьбы. Жизнь его была полна тайн, так же как и его произведения. Прекрасный поэт, основоположник детективного жанра, автор приключенческих, мистических и философских новелл, Эдгар По занял свое почетное место в мировой литературе. В однотомнике классика мировой литературы Эдгара Аллана По представлены новеллы разных лет, фантастическая история путешествий в Южные моря «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» и поэтические произведения в переводах прославленных поэтов «серебряного века» – Константина Бальмонта и Валерия Брюсова.

УДК 821.111-32(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-169123-3

© По Э.
© Эксмо

Содержание

Метценгерштейн	6
Манускрипт, найденный в бутылке	11
Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля	18
Лигейя	43
Падение дома Эшеров	52
Вильям Вильсон	62
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Эдгар По

Золотой жук

- © Александрова З., перевод на русский язык. Наследники, 2022
- © Бернштейн И., перевод на русский язык. Наследники, 2022
- © Богословская М., перевод на русский язык. Наследники, 2022
- © Гальперина Р., перевод на русский язык. Наследники, 2022
- © Гурова И., перевод на русский язык. Наследники, 2022
- © Облонская Р., перевод на русский язык. Наследники, 2022
- © Хинкис В., перевод на русский язык. Наследники, 2022
- © Савельев К., перевод на русский язык, 2022
- © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

Метценгерштейн

Pestis eram vivus – moriens tua mors ero.
Martin Luther¹

Ужас и рок шествовали по свету во все века. Стоит ли тогда говорить, к какому времени относится повесть, которую вы сейчас услышите? Довольно сказать, что в ту пору во внутренних областях Венгрии тайно, но упорно верили в переселение душ. О самом этом учении – то есть о ложности его или, напротив, вероятности – я говорить не стану. Однако же я утверждаю, что недоверчивость наша по большей части (а несчастливость, по словам Лабрюйера, всегда) «vient de ne pouvoir être seule»².

Но суеверие венгров кое в чем граничило с нелепостью. Они – венгры – весьма существенно отличались от своих восточных учителей. Например, душа, говорили первые (я привожу слова одного проницательного и умного парижанина), «ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste – un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»³.

Веками враждовали между собою род Берлифитцингов и род Метценгерштейнов. Никогда еще жизнь двух столь славных семейств не была отягощена враждою столь ужасной. Источник этой розни кроется, пожалуй, в словах древнего пророчества: «Высоко рожденный падет низко, когда, точно всадник над конем, тленность Метценгерштейнов восторжествует над нетленностью Берлифитцингов».

Разумеется, слова эти сами по себе мало что значили. Но причины более обыденные в самом недавнем времени привели к событиям столь же непоправимым. Кроме того, земли этих семейств соприкасались, что уже само по себе с давних пор рождало соперничество. К тому же близкие соседи редко состоят в дружбе, а обитатели замка Берлифитцинг со своих высоких стен могли заглядывать в самые окна дворца Метценгерштейн. И едва ли не королевское величие, которое таким образом открывалось их взорам, менее всего способно было успокоить ревнивые чувства семейства не столь древнего и не столь богатого. Можно ли тогда удивляться, что, каким бы нелепым ни было то прорицание, оно вызвало и поддерживало распрю двух родов, которые, подстрекаемые соперничеством, переходящим из поколения в поколение, и без того непременно должны были бы враждовать. Пророчество, казалось, лишь предрекло – если оно вообще предрекало что бы то ни было – окончательное торжество дома, и без того более могущественного, а домом слабейшим и менее влиятельным вспоминалось, конечно же, с горькою злобой.

Высокородный Вильгельм, граф Берлифитцинг, в ту пору, о которой идет рассказ, был дряхлым, впадшим в детство стариком и отличался единственно неумеренной и закоренелой неприязнью к семье своего соперника и столь страстной любовью к лошадям и охоте, что ни дряхлость тела, ни преклонный возраст, ни ослабевший ум не мешали ему всякий божий день подвергать себя опасностям полеванья.

Фредерик, барон Метценгерштейн, напротив того, еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер молодым. Мать, баронесса Мария, ненадолго пережила своего супруга. Фредерику в ту пору шел девятнадцатый год. В городе восемнадцать лет – срок недолгий, на

¹ При жизни был для тебя несчастьем; умирая, буду твоей смертью (лат.). Мартин Лютер.

² Проистекает оттого, что мы не умеем быть одни (фр.).

³ Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика (фр.).

приволье же, да еще столь великолепном, каким было старое поместье, течение времени исполнено более глубокого смысла.

Благодаря некоторым особым обстоятельствам юный барон стал полновластным хозяином громадных богатств сразу же после смерти своего отца. Мало у кого из венгерских вельмож были такие имения. Замкам его не было числа. Но самым большим и самым великолепным был дворец Метценгерштейн. Пределы его владений никогда не были в точности обозначены, но граница главного парка протянулась на пятьдесят миль.

В том, как поведет себя новый владелец, такой юный, с характером так хорошо известным, получив столь беспрецедентное богатство, мало у кого были сомнения. И разумеется, в первые же три дня наследник дал себе полную волю и превзошел самые смелые ожидания самых горячих своих поклонников. Бесстыдный разгул, вопиющее вероломство, неслыханные жестокости быстро показали его трепещущим вассалам, что ни рабская их покорность, ни голос совести не послужат им отныне защитой от безжалостных когтей маленького Калигулы. В ночь на четвертый день загорелись конюшни замка Берлифитцинг, и вся округа единодушно присовокупила этот поджог к и без того чудовищному списку беззаконий и злодеяний барона.

Но во время суматохи, вызванной этим происшествием, сам юный вельможа сидел, погруженный в глубокое раздумье, в огромной и мрачной зале в верхнем этаже родового дворца Метценгерштейнов. На пышных, хотя и выцветших гобеленах, что висели по стенам, смутно проступали величественные фигуры множества прославленных предков. Здесь облаченные в горностаи епископы и кардиналы, как равные сидя рядом с властителем монархов, накладывали вето на желания какого-нибудь земного владыки либо именем верховной власти самого папы обуздывают дерзновенного врага рода человеческого. Там статные сумрачные князья Метценгерштейны – их могучие боевые кони топчут поверженных врагов, а решительное выражение их лиц способно испугать человека даже с весьма крепкими нервами; а вот исполненные неги и гибкие, как лебеди, дамы давних времен уплывают в призрачном танце под звуки воображаемой музыки.

Но пока барон прислушивался или делал вид, что прислушивается к нараставшему в конюшнях Берлифитцинга шуму, а быть может, замышляя новое, еще более дерзкое злодеяние, взгляд его, скользивший по гобеленам, упал на огромного, необычайной масти коня, который принадлежал какому-то сарацину, одному из предков его соперника. Конь изображен был на переднем плане, и был он недвижим, точно статуя, а в глубине умирал поверженный всадник, пронзенный кинжалом Метценгерштейна.

Когда Фредерик понял, на чем случайно задержался его взгляд, губы его искривила дьявольская усмешка. Однако же он не отвел глаз. Напротив, он никак не мог понять, что за неодолимая тревога сковала все его существо. Не сразу, с трудом осознал он, что, несмотря на смутные бессвязные свои ощущения, он не спит, а бодрствует. Чем дольше смотрел он, тем больше поддавался чарам, и, казалось, никогда уже ему не оторвать замороженного взгляда от гобелена. Но шум и крики за окном вдруг сделались громче, и он с усилием заставил себя взглянуть на алые отблески, что отбрасывало на окна пламя, охватившее конюшни.

Однако уже в следующий миг взгляд его вновь невольно обратился на тот же гобелен. К величайшему его ужасу и удивлению, голова гигантского коня тем временем изменила положение. Шея его, прежде склоненная словно бы сочувственно над распростертым телом господина, теперь вытянулась в сторону барона. Глаза, прежде невидные, сейчас смотрели осмысленно, совсем по-человечески, и в них странно мерцал яростный багровый огонь; а губы расщепившего коня растянулись, обнажая отвратительный мертвый оскал.

Пораженный ужасом, молодой барон, шатаясь, устремился к двери. Распахнул ее, и тотчас в комнату ворвался красный свет и отбросил тень барона на затрепетавший гобелен; на мгновение замешкавшись на пороге, он со страхом увидел, что она в точности совпала с очер-

таниями безжалостного и торжествующего убийцы, вонзившего кинжал в сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеять странный испуг, барон поспешно вышел на воздух. У главных ворот дворца он столкнулся с тремя конюшими. С великим трудом и с опасностью для жизни они сдерживали судорожно рвущегося из рук гигантского огненно-рыжего коня.

– Чей конь? Откуда он у вас? – хрипло, запальчиво спросил юноша, ибо он вдруг увидел, что это взбешенное животное – двойник загадочного коня на гобелене.

– Конь ваш, ваша светлость, – отвечал один из конюших, – по крайней мере никто не признал его своим. Мы поймали его, когда он вынесся из горящих конюшен Берлифитцинга, бока у него курились, на губах пена. Мы подумали, он графский, из конюшни чужеземных коней, и отвели его назад. Но там конюхи его не признали. Странно это, ведь сразу видно, что он вырвался прямо из огня.

– И на лбу у него клеймо, очень четкое, УФБ, – вмешался второй конюший. – Вероятно, Уильям фон Берлифитцинг, но в замке все как один уверяют, будто никогда этого коня и в глаза не видали.

– Очень странно! – в недоумении сказал молодой барон, явно не задумываясь над смыслом своих слов. – Ведь и вправду удивительный, редкостный конь! Хотя, как вы весьма справедливо заметили, нрав у него подозрительный и непослушный. Что ж, пускай будет мой, – прибавил он, помолчав. – Быть может, Фредерик Метценгерштейн сумеет обуздать самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.

– Вы ошиблись, ваша светлость. Мы уже говорили: лошадь эта не из конюшен графа. Будь она оттуда, мы бы не посмели привести ее пред глаза вашей светлости.

– В самом деле, – сухо заметил барон, и в этот миг из замка выбежал паж.

Он шепнул на ухо господину, что в верхней зале внезапно исчезла часть гобелена; сообщил также и подробности, но поведал он их едва слышным шепотом, так что ни одна не достигла ушей конюших, чье любопытство было сильно возбуждено.

Фредерик слушал, и его, казалось, обуревали самые разные чувства. Однако же скоро к нему вновь вернулось самообладание, и, когда он властно приказал немедленно запереть залу, о которой шла речь, и ключ отдать ему в собственные руки, лицо его выражало злую решимость.

– Вы слышали о неожиданной смерти старого Берлифитцинга? – спросил барона один из его вассалов, когда, после ухода пажа, могучий конь, которого этот вельможа согласился счесть своею собственностью, стал с удвоенной яростью кидаться из стороны в сторону на аллее, ведущей от дворца к конюшням Метценгерштейна.

– Нет! – отвечал барон, резко оборотясь к говорящему. – Умер, вы говорите?

– Да, ваша светлость. И для вельможи из рода Метценгерштейнов, я полагаю, это не столь уж неприятное известие.

На губах барона промелькнула улыбка.

– Какою смертью он умер?

– Он отчаянно пытался спасти хотя бы лучшую часть своего конского завода и сам погиб в пламени.

– Вот так! – промолвил барон, словно бы не вдруг освоившись с мыслью, сильно его взволновавшей.

– Вот так, – подтвердил вассал.

– Ужасно! – хладнокровно сказал юноша и спокойно вошел в свой дворец.

С этих пор в поведении беспутного молодого барона Фредерика фон Метценгерштейна произошла разительная перемена. Он, право же, обманул ожидания всех и вся и, на взгляд бесчисленных маменек, повел себя престранно; привычками своими и манерами он еще меньше, нежели прежде, походил теперь на своих аристократических соседей. Никто отныне никогда не встречал его за пределами его владений, и, несмотря на широкое знакомство, он все свое

время проводил в полном одиночестве, разве только странный, неподатливый огненно-рыжий конь, с которого он теперь почти не слезал, по какому-то загадочному праву мог называться его другом.

Однако же он еще долгое время получал множество приглашений от соседей: «Не почтит ли барон наш праздник своим присутствием?», «Не соблаговолит ли барон принять участие в охоте на вепря?»

«Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не приедет», – надменно и коротко отвечал он.

Гордая знать не желала мириться со столь оскорбительной заносчивостью. Приглашения становились все менее радушными, приходили все реже, а со временем и вовсе прекратились. Говорят, вдова несчастного графа Берлифитцинга даже выразила надежду, что барону придется сидеть дома и тогда, когда ему совсем этого не захочется, ибо он презрел общество ровни, и придется скакать верхом, когда у него не будет к тому охоты, ибо он предпочел общество коня. Это, разумеется, была лишь весьма неумная вспышка наследственной розни; и она лишь доказывает, сколь бессмысленны бывают наши речи, когда мы желаем придать им особую силу.

Люди добросердечные объясняли, однако, перемену в поведении молодого вельможи вполне естественным горем сына, потрясенного безвременной смертью родителей, – они забывали при этом, как бессердечно и безрассудно вел он себя первое время после тяжелой этой утраты. Кое-кто полагал даже, что барон чересчур возмнил о своей особе и положении. Другие же (среди них можно назвать домашнего врача) уверенно говорили о склонности барона к болезненной меланхолии и о наследственной слабости здоровья; но большинство обменивалось зловещими намеками.

Упрямую привязанность барона к недавно приобретенному скакуну, привязанность, которая, кажется, становилась сильнее с каждым новым проявлением свирепой, демонической натуры этого животного, люди здравомыслящие в конце концов, конечно же, сочли чудовищной и зловещей страстью. Среди бела дня или в глухой час ночи, здоров ли он был или болен, в ясную погоду или в бурю молодой Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу гигантского коня, чья неукротимая дерзость так отвечала его собственному нраву.

Существовали еще к тому же обстоятельства, которые вместе с недавними событиями придавали сверхъестественный и опасный смысл одержимости наездника и свойствам коня. Было тщательно измерено расстояние, которое конь преодолевал одним прыжком, и оказалось, что оно ошеломляюще превысило все самые смелые ожидания людей, одаренных самым богатым воображением. Кроме того, барон не назвал этого скакуна никаким именем, хотя у всех прочих коней были свои особые клички. И конюшня его также находилась в отдалении от остальных; а кормить, чистить и даже просто войти в отведенное ему стойло не отваживался никто, кроме самого владельца.

Надо еще заметить, что, хотя трое конюших, которые поймали жеребца, когда он спасался из объятых пламенем конюшен Берлифитцинга, сумели остановить его с помощью уздечки и аркана, однако же ни один не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной схватки или когда-либо после он коснулся самого коня. Проявления редкостного ума в повадках благородного и резвого животного не должны были бы возбудить особых толков, но некоторые обстоятельства взбудоражили даже самых недоверчивых и равнодушных, и, говорят, иной раз целая толпа, собравшаяся поглазеть на диковинного коня, шарахалась в ужасе, словно чувствовала, что неспроста он так свирепо бьет копытом, и даже молодой Метценгерштейн, случалось, бледнел и съеживался под его пронзительным, испытующим, совсем человеческим взглядом.

Среди многочисленной свиты барона никто, однако, не сомневался в пылкости той необыкновенной любви, которую молодой вельможа питал к буйному, норовистому коню; никто, кроме ничтожного и уродливого маленького пажа, чье уродство всем бросалось в глаза и чьи слова никто ни во что не ставил. У него хватало дерзости утверждать (если мнение его

вообще заслуживает быть упомянутым), что всякий раз, как господин его вспрыгивал в седло, по его телу проходила непонятная, едва заметная дрожь; и всякий раз, как он возвращался с обычной своей долгой прогулки, лицо его было искажено злобным торжеством.

Однажды бурной ночью, очнувшись от тяжелой дремоты, Метценгерштейн точно безумный выбежал из своей спальни и, поспешно вскочив в седло, ускакал в лесную чащу. Так бывало не раз, и потому никто не обеспокоился, а вот возвращения его домочадцы на сей раз ожидали в большой тревоге, ибо через несколько часов после его отъезда могучие и величественные стены дворца Метценгерштейна треснули до самого основания и зашатались, охваченные синевато-багровым неукротимым пламенем.

Когда огонь впервые заметили, дворец уже весь полыхал, и любые усилия спасти хоть какую-то его часть были, несомненно, обречены на неудачу, так что ошеломленные соседи празднично стояли вокруг и молча, хотя и сокрушенно, дивились происходящему. Но в скором времени новое и страшное зрелище приковало внимание собравшихся и доказало, что человеческие муки потрясают чувства толпы куда глубже, нежели самая страшная гибель предметов неодушевленных.

На аллею, обсаженную могучими дубами, что вела из лесу прямо к дворцу Метценгерштейна, стремительно, точно сам мятежный дух бури, вылетел конь, неся смятенного всадника.

Бесспорно, не всадник направлял эту неистовую скачку. Лицо его выражало муку, тело напряглось в сверхчеловеческом усилии, в кровь искусаны были губы, но лишь однажды вырвался у него короткий, пронзительный крик ужаса. Мгновение – и в реве огня и вое ветра отчетливо и резко простучали копыта, еще мгновение, и, одним прыжком перенесясь через ворота и ров, конь вскочил на готовую рухнуть лестницу дворца и вместе с всадником исчез в бушующих вихрях пламени.

И сразу же буря утихла, и воцарилась гнетущая тишина. Белое пламя все еще, точно саваном, окутывало дворец и, устремившись в безмятежную высь, озарило все окрест каким-то сверхъестественным светом, а над зубчатыми крепостными стенами тяжело нависло облако дыма, в очертаниях которого явственно угадывался гигантский конь.

Манускрипт, найденный в бутылке

Qui n'a plus qu'un moment à vivre

N'a plus rien à dissimuler.

Кому осталось жить одно мгновенье,

Тому уж нечего скрывать.

(Ф. Кино. Атус)

О моей родине и о моей семье мне почти нечего сказать. Постоянные злополучия и томительные годы отторгнули меня от одной и сделали чужим для другой. Родовое богатство дало мне возможность получить воспитание незаурядное, а созерцательный характер моего ума помог мне систематизировать запас знаний, который скопился у меня очень рано благодаря неустанным занятиям. Больше всего мне доставляли наслаждение произведения германских философов; не в силу неуместного преклонения перед их красноречивым безумием, но в силу той легкости, с которой мое строгое мышление позволяло мне открывать их ошибки. Меня часто упрекали в сухости моего ума; недостаток воображения постоянно вменялся мне в особенную вину; и пирронизм моих суждений всегда обращал на меня большое внимание. Действительно, сильная склонность к физической философии, я боюсь, отметила мой ум весьма распространенной ошибкой нашего века – я разумею манеру подчинять принципам этой науки даже такие обстоятельства, которые наименее дают на это право. Вообще говоря, нет человека, менее меня способного выйти из строгих пределов истины и увлечься блуждающими огнями суеверия. Я счел нужным предпослать эти строки, потому что иначе мой невероятный рассказ стал бы рассматриваться скорее как бред безумной фантазии, нежели как положительный опыт ума, для которого игра воображения всегда была мертвой буквой.

После нескольких лет, проведенных в скитаниях по чужим краям, я отплыл в 18... году от Батавии, из гавани, находящейся на богатом и очень населенном острове Яве, держа путь к архипелагу Зондских островов. Я отправлялся как пассажир – не имея к этому никакой иной побудительной причины, кроме нервного беспокойства, которое преследовало меня, как злой дух.

Наше судно представляло из себя очень солидный корабль, приблизительно в сорок тонн, скрепленный медными склепками и выстроенный из малабарского тика в Бомбее. Судно было нагружено хлопчатой бумагой и маслом с Лакедивских островов. Кроме того, в грузе были кокосовые охлопья, кокосовые орехи, тростниковый сахар и несколько ящиков с опиумом. Погрузка была сделана неискусно, из-за этого корабль накренялся.

Мы отплыли под дуновением попутного ветра, и в течение нескольких дней шли вдоль восточного берега Явы, причем единственным развлечением, сколько-нибудь нарушавшим монотонность нашего путешествия, были случайные встречи с тем или с другим из небольших грабов, плавающих по архипелагу, к которому мы были прикованы.

Однажды вечером, облокотясь на гакаборт, я следил за странным облаком, одиноко видневшимся на северо-западе. Оно было замечательно, как по своему цвету, так и потому, что оно было первым облаком, которое мы увидели, с тех пор как отплыли из Батавии. Я внимательно наблюдал за ним до заката солнца, и тут оно мгновенно распространилось к востоку и к западу, опоясав горизонт узкой полосой тумана и приняв вид длинной линии отлогого берега. Внимание мое вскоре после этого было привлечено видом багрового месяца и особенным характером моря. С этим последним совершалась быстрая перемена, и вода представлялась более чем обыкновенно прозрачной. Хотя я совершенно явственно мог видеть дно, тем не менее, опустивши лот, я нашел, что корабль находился на пятнадцати сажнях глубины.

Воздух сделался невыносимо удушливым и был насыщен спиральными испарениями, подобными тем, которые поднимаются от раскаленного железа. С приближением ночи самое легкое дуновение ветра умерло, и более невозмутимого спокойствия невозможно было себе представить. Пламя свечи горело на корме без малейшего колебания, и длинный волос, будучи положен между большим пальцем и указательным, висел так неподвижно, что нельзя было уловить даже самого слабого трепетания. Однако, по словам капитана, ничто не предвещало опасности, и, так как мы плыли лагом к берегу, он отдал приказание убрать паруса и ослабить якорь. Не было поставлено ни одного часового, и весь экипаж, состоявший главным образом из малайцев, нарочно улегся на палубе. Я сошел вниз, и, должен сказать, в душе у меня было полное предчувствие беды. На самом деле, все говорило мне о приближении самума. Я высказал свои опасения капитану, но он не обратил на мои слова никакого внимания и даже не удостоил меня ответом. Как бы то ни было, благодаря беспокойству я не мог уснуть и около полуночи отправился на палубу. Когда я взошел на последнюю ступеньку трапа, находившегося возле капитанской каюты, я был поражен громким и глухим шумом, подобным быстрому рокоту мельничного колеса, и прежде чем я успел подумать, что это значит, я почувствовал, как корабль задрожал до основания. В следующее мгновение бешеный вал, покрытый барашками, опрокинул корабль на бок и, промчавшись спереди и сзади, точно гигантской метлой, мгновенно очистил всю палубу с носа до кормы.

Крайнее бешенство вихря в значительной степени обеспечило целостность корабля. Хотя он весь окунулся в воду, однако через несколько мгновений, после того как мачты опрокинулись на борт, он тяжело поднялся из моря и, содрогаясь под исполинским давлением бури, в конце концов совершенно выпрямился.

Каким чудом я спасся от гибели, не могу объяснить. Оглушенный ударом водного потока, я тотчас же очнулся и увидел себя стиснутым между старн-постом и рулем. С великим трудом я высвободил свои ноги и, оглядевшись кругом потерянным взглядом, был, прежде всего, поражен мыслью, что вокруг нас свирепствует бурун, – так чудовищно было это невообразимое кружение исполинских тенистых масс океана, в смятение которых мы были втянуты. Через некоторое время я услышал голос старика шведа, который сел вместе с нами на корабль в ту самую минуту, когда мы оставляли гавань. Я стал кричать ему изо всех сил, и неверными шагами он подошел ко мне сзади. Вскоре нам пришлось убедиться, что только мы двое пережили это неожиданное событие. Исключая нас, весь экипаж, находившийся на палубе, был смыт – капитан и штурманы, несомненно, погибли во время сна, потому что каюты были залиты водой. Без какой-нибудь посторонней помощи мы вряд ли могли сделать что-нибудь для того, чтобы спасти корабль, и всякие усилия были сперва парализованы ежеминутным ожиданием гибели. Наш канат, конечно, лопнул, как тонкая бечевка, при первом же взрыве урагана, в противном случае мы тотчас же были бы поглощены морем. С ужасающей быстротой мы мчались теперь по морю и видели, как вода делает в корабле трещины. Сруб кормы был сильно расщеплен, и почти повсюду мы получили значительные повреждения, но, к крайней нашей радости, насосы не были повреждены и в балласте не произошло значительных передвижений. Главное бешенство бури уже миновало, и со стороны ветра нам не угрожало особенной опасности; но мы с ужасом думали, что порывы вихря могут совсем прекратиться, так как не могли не видеть, что тогда корабль, в своем полуразрушенном состоянии, неминуемо погибнет под напором ужасающих валов. Однако такое справедливое опасение, по-видимому, не должно было скоро оправдаться. Целые пять дней и пять ночей, – в течение которых нашим единственным пропитанием было небольшое количество тростникового сахара, с трудом добытого из бака, – корпус корабля устремлялся с невообразимой поспешностью, под дуновением быстро сменявшихся порывов вихря, который, не будучи равен по силе первому взрыву самума, все же был настолько страшен, что подобного смятения воздуха до тех пор я никогда не видал. Первые четыре дня мы плыли, с небольшим уклоном, к юго-востоку и к югу; должно быть,

мы направлялись к берегу Новой Голландии. На пятый день стало чрезвычайно холодно, хотя ветер передвинулся на один градус к северу. Встало солнце, с болезненно-желтым сиянием, оно едва поднялось над горизонтом, не распространяя настоящего света. На небе не виднелось облаков, но ветер возрастал и дул с каким-то тревожным непостоянным бешенством. Около полудня, насколько мы могли судить о времени, внимание наше было снова привлечено видом солнца. От него не исходило света в собственном смысле этого слова, но оно было исполнено мертвого и пасмурного блеска без отражения, как будто лучи его были поляризованы. Перед тем как оно должно было опуститься за поверхность вздутого моря, его центральные огни внезапно исчезли, как бы мгновенно погашенные какою-то непостижимой силой, и только туманное серебристое кольцо ринулось в бездонный океан.

Мы напрасно дожидались рассвета, который возвестил бы нам о пришествии шестого дня, – этот день для меня не настал, для шведа он не наступил никогда. Мы погрузились с тех пор в непроглядный мрак, так что нам ничего не было видно на расстоянии десяти футов от корабля. Часы проходили, а нас продолжала окутывать непрерывная ночь, не озаренная даже тем фосфорическим блеском моря, к которому мы привыкли под тропиками. Мы заметили, кроме того, что, хотя буря продолжала неистовствовать, мы не могли больше заметить обычных особенностей буруна, или пены, которая нас до сих пор сопровождала. Кругом был только ужас, и непроницаемая тьма, и наводящая отчаяние пустыня черноты. Суеверный страх мало-помалу овладел умом старика шведа, и моя собственная душа была охвачена безмолвным изумлением. Мы оставили всякие заботы о корабле, как бесполезные, и, уцепившись, насколько возможно крепко, за обломок бизань-мачты, горестно смотрели в безбрежность океана. У нас не было возможности считать время, у нас не было возможности составить какое-нибудь представление о том, где мы находимся. Мы, однако, ясно сознавали, что мы ушли на юг дальше, чем кто-либо из предшествующих мореплавателей, и испытывали крайнее изумление, не встречая обычных препятствий в виде ледяных глыб. Между тем каждое мгновение грозило нам гибелью – каждый исполинский вал стремился поглотить нас. Морское волнение превосходило все представления моей фантазии, и только чудо могло нас спасти от угроз каждого губительного мига. Мой товарищ говорил о легкости нашего груза, напоминал мне о превосходных качествах нашего корабля; но я не мог не чувствовать безнадежности самой надежды и мрачно приготовился к смерти, полагая, что она последует не позже как через час, ибо с каждым пройденным узлом подъятие черных ужасающих волн становилось все страшнее и чудовищнее. Временами мы задыхались на высоте большей, чем высота полета альбатросов, – временами мы чувствовали головокружение от быстроты нашего нисхождения в морскую преисподнюю, где воздух становился недвижным и ни один звук не возмущал дремоту кракена.

Мы находились на дне одной из таких пропастей, когда быстрый крик моего товарища страшно прозвучал в безмолвии ночи. «Смотрите! смотрите! – вскричал он, выкликая прямо в мои уши. – Господи боже мой! смотрите! смотрите!» Пока он говорил, я увидел мрачный, пасмурный отблеск красного света, струившегося по стенам обширной бездны, где мы находились, и бросавшего неровное мерцанье на нашу палубу. Устремив глаза вверх, я увидел зрелище, заморозившее кровь в моих жилах. На страшной высоте, прямо над нами, на самом краю чудовищного обрыва, качался гигантский корабль, быть может, в четыре тысячи тонн. Хотя он находился на вершине вала, более чем в сто раз превосходившего его собственную высоту, видимые его очертания все же оставляли за собой всякий линейный корабль и всякое судно Восточной Индийской компании. Его громадный корпус угрюмо чернелся, не будучи несколько смягчен каким-либо из обычных украшений. Шеренга медных пушек выдвигалась из открытых люков и отбрасывала от своих полированных поверхностей огни бесчисленных боевых фонарей, которые качались там и сям на снастях. Но что более всего исполнило нас ужасом и изумлением, это то, что он шел на всех парусах по этому сверхъестественному морю несмотря на этот неукротимый ураган. В первое мгновение виднелись только корабельные скулы, между тем как весь

исполин медленно вставал из неясной и чудовищной пучины, находившейся за ним. На один миг – миг напряженного ужаса – он взвился на самую вершину этого головокружительного вала, помедлил, как бы опьяненный собственным взмахом, и дрогнул и заколебался и – устремился вниз.

Не знаю, откуда у меня взялось самообладание в эту минуту. Откинувшись назад, как только мог, я бестрепетно ждал катастрофы. Корабль наш наконец перестал бороться с морем и начал погружаться с носовой стороны в воду. Толчок стремительной водной массы, сбегавшей сверху, поразил его в ту часть сруба, которая уже находилась под водой, и в неизбежном результате с непобедимой силой швырнул меня на снасти чужого корабля.

Когда я падал, корабль поднимался на штаге и поворачивался на другой галс; замешательство, происшедшее благодаря этому, и было, по-видимому, причиной того, что судовая команда не обратила на меня никакого внимания. Без особенных затруднений я прошел, незамеченный, к главному люку, который был полуоткрыт, и вскоре нашел удобный случай скрыться в трюме. Почему я так сделал, затрудняюсь сказать. Быть может, неопределенное чувство страха, овладевшее мной сперва при виде этих мореплавателей, обусловило мое желание скрыться. Я совсем не был расположен доверяться людям, в которых, при самом беглом взгляде, заметил столько черт новизны, чего-то возбуждающего сомнение и предчувствие. Я счел поэтому за лучшее устроить себе в трюме тайник, удалив с этой целью часть передвижных обшивных досок таким образом, что они давали мне достаточное убежище среди огромных ребер корабля.

Не успел я кончить свою работу, как шаги, раздавшиеся в трюме, принудили меня скрыться. Около моего убежища неверными и слабыми шагами прошел какой-то человек. Лица его я не мог различить, но обстоятельства позволили мне заметить общий его вид. На нем лежала несомненная печать дряхлости и преклонности. Колени его дрожали, и все тело колебалось под бременем долгих лет. Обращаясь к самому себе, он бормотал глухим и прерывающимся голосом какие-то слова на языке, которого я понять не мог, и стал копошиться в углу среди беспорядочной груды каких-то необычайного вида инструментов и обветшавших морских карт. Все его манеры представляли из себя странную смесь, это была ворчливость вторичного детства и исполненная достоинства величавость бога. В конце концов он отправился на палубу, и я его больше не видал.

* * *

Душой моей овладело чувство, для которого я не нахожу названия, – ощущение, которое не поддается анализу; поучения минувших времен для него недостаточны, и я боюсь, что даже будущее не даст мне к нему никакого ключа. Для ума, подобного моему, последнее соображение является пагубой. Никогда – я знаю, что никогда – мне не удастся узнать ничего относительно самой природы моих представлений. И все же нет ничего удивительного, если эти представления неопределенны, ибо они имеют свое начало в источниках совершенно новых. Новое чувство возникло – новая сущность присоединилась к моей душе.

* * *

Уже много времени прошло с тех пор, как я впервые ступил на палубу этого страшного корабля, и лучи моей судьбы, как я думаю, собрались в одну точку. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, самую природу которых я разгадать не в состоянии, они проходят предо мною, не замечая меня. Скрываться от них – крайнее безумие с моей стороны, ибо *они не хотят* видеть. Я только что прошел перед самыми глазами штурмана; не так давно я рискнул пробраться в собственную каюту капитана и достал оттуда материал, с помощью

которого я пишу теперь, и записал все предыдущее. Время от времени я буду продолжать свой дневник. Это правда, у меня нет никаких средств передать его миру, но я попытаюсь как-нибудь устроиться. В последнюю минуту я положу манускрипт в бутылку и брошу ее в море.

* * *

Произошло событие, которое дало мне пищу для новых размышлений. Являются ли такие вещи действием непостижимой случайности? Я рискнул выйти на палубу и, не обратив на себя ничего внимания, улегся среди груды выброшенных и старых парусов на дне ялика. Размышляя о странностях моей судьбы, я совершенно бессознательно взял находившуюся здесь мазилку для смолы и стал мазать края только что сложенного лиселя, лежавшего около меня на бочонке. Лисель теперь выгнут и красуется на корабле, а случайные мазки сложились в слово ОТКРЫТИЕ.

За последнее время я сделал много наблюдений относительно структуры судна. Хотя оно и хорошо вооружено, оно, как я думаю, не представляет из себя военного корабля. Его снасти, конструкция и общее снаряжение являются живым отрицанием военных предприятий. Что корабль из себя *не представляет*, мне легко понять, но что он из себя *представляет*, — это, я боюсь, невозможно сказать. Не знаю, каким образом, но, внимательно рассматривая его необычайную форму и странный характер его мачт, его гигантский рост и чрезмерный запас парусин, его нос, отличающийся строгой простотой, и старинную обветшавшую корму, я чувствую, что в моем уме возникают вспышки смутных ощущений, говорящих мне о знакомых вещах, и с этими неясными тенями прошлого всегда смешиваются необъяснимые воспоминания о древних чужеземных летописях и давно прошедших веках.

* * *

Я внимательно осмотрел ребра корабля. Он выстроен из материала, мне неизвестного. В характере дерева есть какие-то поразительные особенности, делающие его, как мне кажется, негодным для целей, к которым он был предназначен. Я разумею его крайнюю *ноздреватость*, причем беру ее независимо от тех червоточин, которые неразрывны с плаваньем по этим морям, и независимо от гнилости, которую нужно отнести на счет его возраста. Быть может, мои слова покажутся замечанием слишком утонченным, но мне хочется сказать, что это дерево имело бы все отличительные особенности испанского дуба, если бы испанский дуб мог быть растянут какими-нибудь неестественными средствами.

Перечитывая предыдущие строки, я невольно припоминаю остроумное изречение одного голландского мореплавателя, старого бывалого моряка. «Это верно, — имел он обыкновение говорить, когда кто-нибудь высказывал сомнение в правде его слов, — это так же верно, как то, что есть море, где самый корабль увеличивается в росте, как живое тело моряков».

* * *

Около часа тому назад я дерзнул войти в толпу матросов, находившихся на палубе. Они не обратили на меня никакого внимания, и, хотя я стоял среди них, в самой середине, они, казалось, совершенно не сознавали моего присутствия. Подобно тому старику, которого я впервые увидел в трюме, все они носят на себе печать седой старости. Их слабые колена дрожат; их согбенные плечи свидетельствуют о престарелости; их сморщенная кожа шуршит под ветром; их голоса глухи, неверны и прерывисты; в их глазах искрится слезливость годов; и седые их

волосы страшно развеваются под бурей. Вкруг них, на палубе, везде разбросаны математические инструменты самой причудливой архаической формы.

* * *

Я упомянул несколько времени тому назад, что лисель был водружен на корабле. С этого времени корабль, как бы насмехаясь над враждебным ветром, продолжает свое страшное шествие к югу, нагромоздив на себя все паруса; он увешан ими с клотов до нижних багров и ежеминутно устремляет свои брам-реи в самую чудовищную преисподнюю морских вод, какую только может вообразить себе человеческий ум. Я только что оставил палубу, я не мог там держаться на ногах, хотя судовая команда, по-видимому, не ощущает ни малейших неудобств. Мне представляется чудом из чудес, что вся эта громадная масса нашего корабля не поглощена водою сразу и безвозвратно. Нет сомнения, мы присуждены беспрерывно колебаться на краю вечности, не погружаясь окончательно в ее пучины. С волны на волну, из которых каждая в тысячу раз более чудовищна, чем все гигантские волны, когда-либо виденные мной, мы скользим с быстрой легкостью морской чайки; и исполинские воды вздымают свои головы, подобно демонам глубин, но подобно демонам, которым дозволено только угрожать, и воспрещено разрушать. То обстоятельство, что мы постоянно ускользаем от гибели, я могу приписать лишь одной естественной причине, способной обусловить такое явление. Я должен предположить, что корабль находится в полосе какого-нибудь сильного потока или могучего подводного буксира.

* * *

Я встретился с капитаном лицом к лицу, в его собственной каюте, – но, как я ожидал, он не обратил на меня никакого внимания. Хотя для случайного наблюдателя в его наружности не было ничего, что могло бы свидетельствовать о нем больше или меньше, чем о человеке, однако я не мог не смотреть на него иначе как с чувством непобедимой почтительности и страха, смешанного с изумлением. Он почти одинакового со мной роста; т. е. около пяти футов и восьми дюймов. Он хорошо сложен, не очень коренаст и вообще ничем особенным не отличается. Но в выражении его лица господствует что-то своеобразное; это – неотрицаемая, поразительная, заставляющая дрогнуть очевидность преклонного возраста, такого глубокого, такого исключительного, что в моей душе возникает чувство – ощущение несказанное. На лбу у него мало морщин, но на нем лежит печать, указывающая на мириады лет. Его седые волосы – летописи прошлого, его беловато-серые глаза – сибиллы будущего. Весь пол каюты был завален странными фолиантами, заключенными в железные переплеты, запыленными научными инструментами и архаическими картами давно забытых времен. Он сидел, склонив голову на руки, и беспокойным огнистым взором впивался в бумагу, которую я принял за государственное повеление и на которой, во всяком случае, была подпись монарха. Он бормотал про себя – как это делал первый моряк, которого я видел в трюме, – какие-то глухие ворчливые слова на чужом языке; и, хотя он был со мною рядом, его голос достигал моего слуха как бы на расстоянии мили.

* * *

Корабль вместе со всем, что есть на нем, напоен духом Древности. Матросы проскользают туда и сюда, подобно призракам погибших столетий; в их глазах светится беспокойное нетерпеливое выражение; и когда, проходя, я вижу их лица под диким блеском военных фона-

рей, я чувствую то, чего не чувствовал никогда, хотя всю жизнь свою я изучал мир древностей и впитал в себя тени поверженных колонн Бальбека, и Тадмора, и Персеполиса, пока, наконец, моя собственная душа не стала руиной.

* * *

Когда я смотрю вокруг себя, мне стыдно за свои прежние предчувствия. Если я трепетал при виде бури, которая доныне сопровождала нас, не должен ли я приходить теперь в ужас при виде борьбы океана и ветра, по отношению к которой слова «шквал» и «самум» кажутся пошлыми и бесцветными? В непосредственной близости от корабля висит мрак черной ночи и безумствует хаос беспенных вод; но приблизительно на расстоянии одной лиги от нас, с той и с другой стороны, виднеются, неясно и на разном расстоянии, огромные оплоты изо льда, возносящиеся в высь безутешного неба и кажущиеся стенами вселенной.

* * *

Как я предполагал, корабль находится в полосе течения – если только это название может быть применено к могучему морскому приливу, который, с ревом и с грохотом, отражаемым белыми льдами, мчится к югу с поспешностью, подобной безумному порыву водопада.

* * *

Постичь ужас моих ощущений, я утверждаю, невозможно; но жадное желание проникнуть в тайны этих страшных областей перевешивает во мне даже отчаяние и может примирить меня с самым отвратительным видом смерти. Вполне очевидно, что мы бешено стремимся к какому-то волнующему знанию – к какой-то тайне, которой никогда не суждено быть переданной и достижение которой есть смерть. Быть может, это течение влечет нас к Южному полюсу. Я должен признаться, что это предположение, по-видимому такое безумное, имеет в свою пользу все вероятия.

* * *

Судовая команда бродит по палубе беспокойными неверными шагами; но в выражении этих лиц больше беспокойства надежды, нежели равнодушия отчаяния.

Между тем ветер все еще бьется в нашу корму, и так как развевается целая масса парусов, корабль временами приподнимается из моря! О, ужас ужасов! – лед внезапно открывается справа и слева, и мы с головокружительной быстротой начинаем вращаться по гигантским концентрическим кругам, все кругом и кругом по окраинам исполинского ледяного полукруга, стены которого сверху поглощены мраком и пространством. Но у меня нет времени размышлять о моей участи! Круги быстро суживаются – с бешеным порывом мы погружаемся в тиски водоворота, – и среди завываний океана, среди рева и грохота бури корабль содрогается, и – боже мой! – он идет ко дну!

Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфаала

*Мечтам безумным сердца
Я властелин отныне,
С горящим копьем и воздушным конем
Считаюсь я в пустыне.*

Песня Тома из Бедлама

Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени – я в этом не сомневаюсь – будет взбудоражена вся Европа, естествоиспытатели всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор.

Произошло следующее. Такого-то числа и такого-то месяца (я не могу сообщить точной даты)⁴ огромная толпа почему-то собралась на Биржевой площади благоустроенного города Роттердама. День был теплый – совсем не по времени года, – без малейшего ветерка; и благодушное настроение толпы ничуть не омрачалось оттого, что иногда ее spryskival мгновенный легкий дождичек из огромных белых облаков, в изобилии разбросанных по голубому небу. Тем не менее около полудня в толпе почувствовалось легкое, но необычайное беспокойство: десять тысяч языков забормотали разом; спустя мгновение десять тысяч трубок, словно по приказу, вылетели из десяти тысяч ртов, и продолжительный, громкий, дикий вопль, который можно сравнить только с ревом Ниагары, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама.

Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазури какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров, стоявшая внизу разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое? Ради всех чертей роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал, никто даже вообразить не мог, никто – даже сам бургомистр мингер Супербус ван Ундердук – не обладал ключом к этой тайне; и так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного явления, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул – затем снова переступил с ноги на ногу, хмыкнул, приостановился и выпустил клуб дыма.

Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затяжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был... нет, это действительно был воздушный шар; но, без сомнения, такого шара еще не выдывали в Роттердаме. Кто же, позвольте вас спросить, слышал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии – никто, могу вас уверить; тем не менее в настоящую минуту под самым носом у собравшихся или, точнее сказать, над носом колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная, по сообщению вполне авторитетного лица, из упомянутого материала, как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей, и этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз.

⁴ Из всего дальнейшего описания следует, что По имеет в виду 1 апреля – день обманов.

Это сходство ничуть не уменьшилось, когда, при более внимательном осмотре, толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу, а вокруг верхнего края, или основания конуса, – ряд маленьких инструментов вроде бубенчиков, которые весело позванивали. Мало того, к этой фантастической машине была привешена вместо гондолы огромная темная касторовая шляпа с широчайшими полями и обвитая вокруг тульи черной лентой с серебряной пряжкой. Но странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были побожиться, что им уже не раз случалось видеть эту самую шляпу, да и все сборище смотрело на нее как на старую знакомую, а фрау Греттель Пфааль, испустив радостное восклицание, объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька. Необходимо заметить, что лет пять тому назад Пфааль с тремя товарищами исчез из Роттердама самым неожиданным и необычным образом, и с тех пор не было о нем ни слуху ни духу. Позднее в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена куча костей, по-видимому человеческих, вперемешку с какими-то странными тряпками и обломками, и некоторые из граждан даже вообразили, что здесь совершилось кровавое злодеяние, жертвой которого пали Ганс Пфааль и его товарищи. Но вернемся к происшествию.

Воздушный шар (так как это был, несомненно, воздушный шар) находился теперь на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла свободно рассмотреть его пассажира. Правду сказать, это было очень странное создание. Рост его не превышал двух футов; но и при таком маленьком росте он легко мог потерять равновесие и кувырнуться за борт своей удивительной гондолы, если бы не обруч, помещенный на высоте его груди и прикрепленный к шару веревками. Толщина человечка совершенно не соответствовала росту и придавала всей его фигуре чрезвычайно нелепый шарообразный вид. Ног его, разумеется, не было видно. Руки отличались громадными размерами. Седые волосы были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был красный, непомерно длинный, крючковатый нос, блестящие пронзительные глаза, морщинистые и вместе с тем пухлые щеки, но ни малейшего признака ушей где-либо на голове; странный старичок был одет в просторный атласный камзол небесно-голубого цвета и такого же цвета короткие панталоны в обтяжку, с серебряными пряжками у колен. Кроме того, на нем был жилет из какой-то ярко-желтой материи, мягкая белая шляпа, молодцевато сдвинутая набекрень, и кроваво-красный шелковый шейный платок, завязанный огромным бантом, концы которого франтовато спадали на грудь.

Когда оставалось, как уже сказано, каких-нибудь сто футов до земли, старичок внезапно засуетился, по-видимому не желая приближаться еще более к *terra firma*⁵. С большим усилием подняв полотняный мешок, он отсыпал из него немного песку, и шар на мгновение остановился в воздухе. Затем старичок торопливо вытащил из бокового кармана большую записную книжку в сафьяновом переплете и подозрительно взвесил в руке, глядя на нее с величайшим изумлением, очевидно пораженный ее тяжестью. Потом открыл книжку и, достав из нее пакет, запечатанный сургучом и тщательно перевязанный красною тесемкой, бросил его прямо к ногам бургомистра Супербуса ван Ундердука. Его превосходительство нагнулся, чтобы поднять пакет. Но аэронавт, по-прежнему в сильнейшем волнении и, очевидно, считая свои дела в Роттердаме поконченными, начал в ту самую минуту готовиться к отлету. Для этого потребовалось облегчить гондолу, и вот с полдюжины мешков, которые он выбросил, не потрудившись предварительно опорожнить их, один за другим шлепнулись на спину бургомистра и заставили этого сановника столько же раз перекувырнуться на глазах у всего города. Не следует думать, однако, что великий Ундердук оставил безнаказанной наглую выходку старикашки. Напротив, рассказывают, будто он, падая, каждый раз выпускал не менее полдюжины огромных и яростных клубов из своей трубки, которую все время крепко держал в зубах и намерен был держать (с божьей помощью) до последнего своего вздоха.

⁵ Твердой земле (*лат.*).

Тем временем воздушный шар взвился, точно жаворонок, на громадную высоту и вскоре, исчезнув за облаком, в точности похожим на то, из-за которого он так неожиданно выплыл, скрылся навеки от изумленных взоров добрых роттердамцев. Внимание всех устремилось теперь на письмо, падение которого и последовавшие затем происшествия оказались столь оскорбительными для персоны и персонального достоинства его превосходительства ван Ундердука. Тем не менее этот сановник во время своих коловращений не упускал из вида письмо, которое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, попало в надлежащие руки, будучи адресовано ему и профессору Рубадубу как президенту и вице-президенту Роттердамского астрономического общества. Итак, названные сановники распечатали письмо тут же на месте и нашли в нем следующее необычное и весьма важное сообщение:

«Их превосходительствам господину ван Ундердуку и господину Рубадубу, президенту и вице-президенту Астрономического общества в городе Роттердаме.

Быть может, ваши превосходительства сообразуют припомнить Ганса Пфааля, скромного ремесленника, занимавшегося починкой мехов для раздувания огня, – который вместе с тремя другими обывателями исчез из города Роттердама около пяти лет тому назад при обстоятельствах, можно сказать, чрезвычайных. Как бы то ни было, с позволения ваших превосходительств, я, автор настоящего сообщения, и есть тот самый Ганс Пфааль. Большинству моих сограждан известно, что в течение сорока лет я занимал небольшой кирпичный дом в конце переулка, именуемого переулком Кислой Капусты, где проживал вплоть до дня моего исчезновения. Предки мои с незапамятных времен обитали там же, подвизаясь на том же почетном и весьма прибыльном поприще починки мехов для раздувания огня. Ибо, говоря откровенно, до последних лет, когда весь народ прямо помешался на политике, ни один честный роттердамский гражданин не мог бы пожелать или заслужить право на лучшую профессию. Я пользовался широким кредитом, в работе никогда не было недостатка – словом, и денег и заказов было вдоволь. Но, как я уже сказал, мы скоро почувствовали, к чему ведет пресловутая свобода, бесконечные речи, радикализм и тому подобные штуки. Людям, которые раньше являлись нашими лучшими клиентами, теперь некогда было и подумать о нас, грешных. Они только и знали, что читать о революциях, следить за успехами человеческой мысли и приспособливаться к духу времени. Если требовалось растопить очаг, огонь раздували газетой; я не сомневаюсь, что, по мере того как правительство становилось слабее, железо и кожа выигрывали в прочности, так как в самое короткое время во всем Роттердаме не осталось и пары мехов, которые требовали бы помощи иглы или молотка. Словом, положение сделалось невыносимым. Вскоре я уже был беден как мышь, а надо было кормить жену и детей. В конце концов мне стало просто невтерпёж, и я проводил целые часы, обдумывая, каким бы способом лишить себя жизни; но кредиторы не оставляли мне времени для размышлений. Мой дом буквально подвергался осаде с утра и до вечера. Трое заимодавцев особенно допекали меня, часами подстерегая у дверей и грозя судом. Я поклялся жестоко отомстить им, если только когда-нибудь они попадутся мне в лапы, и думаю, что лишь предвкушение этой мести помешало мне немедленно привести в исполнение мой план покончить с жизнью и раздробить себе череп выстрелом из мушкетона. Как бы то ни было, я счел за лучшее затаить свою злобу и умягчать их ласковыми словами и обещаниями, пока благоприятный оборот судьбы не доставит мне случая для мести.

Однажды, ускользнув от них и чувствуя себя более чем когда-либо в угнетенном настроении, я бесцельно бродил по самым глухим улицам, пока не завернул случайно в лавочку букиниста. Увидев стул, приготовленный для посетителей, я угрюмо опустился на него и машинально раскрыл первую попавшуюся книгу. Это оказался небольшой полемический трактат по теоретической астрономии, сочинение не то берлинского профессора Энке, не то француза с такой же фамилией. Я немножко маракую в астрономии и вскоре совершенно углубился в чтение; я прочел книгу дважды, прежде чем сообразил, где я и что я. Тем временем стемнело,

и пора было идти домой. Но книжка (в связи с новым открытием по части пневматики, тайну которого сообщил мне недавно один мой родственник из Нанта) произвела на меня неизгладимое впечатление, и, блуждая по темным улицам, я размышлял о странных и не всегда понятных рассуждениях автора. Некоторые места особенно поразили мое воображение. Чем больше я раздумывал над ними, тем сильнее они занимали меня. Недостаточность моего образования и, в частности, отсутствие знаний по естественным наукам отнюдь не внушали мне недоверия к моей способности понять прочтенное или к тем смутным сведениям, которые явились результатом чтения, – все это только пуще разжигало мое воображение. Я был настолько безрассуден или настолько рассудителен, что спрашивал себя: точно ли нелепы фантастические идеи, возникающие в причудливых умах, и не обладают ли они в ряде случаев силой, реальностью и другими свойствами, присущими инстинкту или вдохновению?

Я пришел домой поздно и тотчас лег в постель. Но голова моя была слишком взбудоражена, и я целую ночь провел в размышлениях. Поднявшись спозаранку, я поспешил в книжную лавку и купил несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив на них всю имевшуюся у меня скудную наличность. Затем, благополучно вернувшись домой с приобретенными книгами, я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре достиг знаний, которые считал достаточными для того, чтобы привести в исполнение план, внушенный мне дьяволом или моим добрым гением. В то же время я всеми силами старался уласить трех кредиторов, столь жестоко донимавших меня. В конце концов я преуспел в этом, уплатив половину долга из денег, вырученных от продажи кое-каких домашних вещей, и обещав уплатить остальное, когда приведу в исполнение один проект, в осуществлении которого они (люди совершенно невежественные) согласились мне помочь.

Уладив таким образом свои дела, я при помощи жены и с соблюдением строжайшей тайны постарался сбыть свое остальное имущество и собрал порядочную сумму денег, занимая по мелочам, где придется, под разными предложениями и (со стыдом должен сознаться) не имея притом никаких надежд возратить эти долги в будущем. На деньги, добытые таким путем, я помаленьку накопил: очень тонкого кембрикового муслина, кусками по двенадцати ярдов каждый, веревок, каучукового лака, широкую и глубокую плетеную корзину, сделанную по заказу, и разных других материалов, необходимых для сооружения и оснастки воздушного шара огромных размеров. Изготовление шара я поручил жене, дав ей надлежащие указания, и просил окончить работу как можно скорее; сам же тем временем сплел сетку, снабдив ее обручами и крепкими веревками, и приобрел множество инструментов и материалов для опытов в верхних слоях атмосферы. Далее я перевез ночью в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама пять бочек, обитых железными обручами, вместимостью в пятьдесят галлонов каждая, и шестую побольше, полдюжины жестяных труб в десять футов длиной и в три дюйма диаметром, запас *особого металлического вещества, или полуметалла*, название которого я не могу открыть, и двенадцать бутылей *самой обыкновенной кислоты*. Газа, получаемого с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал – или по крайней мере он никогда не применялся для подобной цели. Я могу только сообщить, что он является составной частью азота, так долго считавшегося неразложимым, и что плотность его в 37,4 раза *меньше плотности водорода*. Он не имеет вкуса, но обладает запахом; очищенный – горит зеленоватым пламенем и безусловно смертелен для всякого живого существа. Я мог бы описать его во всех подробностях, но, как уже наметнул выше, право на это открытие принадлежит по справедливости одному нантскому гражданину, который поделился со мною своей тайной на известных условиях. Он же сообщил мне, ничего не зная о моих намерениях, способ изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, сквозь которую газ почти не проникает. Я, однако, нашел этот способ слишком дорогим и решил, что, в конце концов, кембриковый муслин, покрытый слоем каучука, ничуть не хуже. Упоминаю об этом, так как считаю весьма возможным, что мой нантский родственник попытается сделать воздушный шар с помощью

нового газа и материала, о котором я говорил выше, – и отнюдь не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия.

На тех местах, где во время наполнения шара должны были находиться бочки поменьше, я выкопал небольшие ямы, так что они образовали круг диаметром в двадцать пять футов. В центре этого круга была вырыта яма поглубже, над которой я намеревался поставить большую бочку. Затем я опустил в каждую из пяти маленьких ям ящик с порохом, по пятидесяти фунтов в каждом, а в большую – бочонок со ста пятьюдесятью фунтами пушечного пороха. Соединив бочонок и ящики подземными проводами и приспособив к одному из ящичков фитиль в четыре фута длиною, я прикрыл его бочкой, так что конец фитиля высывался из-под нее только на дюйм; потом засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении.

Кроме перечисленных выше приспособлений, я припрятал в своей мастерской аппарат господина Гримма для сгущения атмосферного воздуха. Впрочем, эта машина, чтобы удовлетворить моим целям, потребовала значительных изменений. Но путем упорного труда и неутомимой настойчивости мне удалось преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал более сорока тысяч кубических футов газа и легко мог поднять меня, мои запасы и сто семьдесят пять фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что кембриковый муслин ничуть не уступает шелку, так же прочен, но гораздо дешевле.

Когда все было готово, я взял со своей жены клятву хранить в тайне все мои действия с того дня, когда я в первый раз посетил книжную лавку; затем, обещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей оставшиеся у меня деньги и распростился с нею. Мне нечего было беспокоиться на ее счет. Моя жена, что называется, ловкая баба и сумеет прожить на свете без моей помощи. Говоря откровенно, мне сдается, что она всегда считала меня лентяем, дармоедом, способным только строить воздушные замки, и была очень рада отделаться от меня. Итак, простившись с ней в одну темную ночь, я захватил с собой в качестве адъютантов трех кредиторов, доставивших мне столько неприятностей, и мы потащили шар, корзину и прочие принадлежности окольным путем к месту отправки, где уже были заготовлены все остальные материалы. Все оказалось в порядке, и я немедленно приступил к делу.

Было первое апреля. Как я уже сказал, ночь стояла темная, на небе ни звездочки; моросил мелкий дождь, по милости которого мы чувствовали себя весьма скверно. Но хуже всего меня беспокоил шар, который хотя и был покрыт лаком, однако сильно отяжелел от сырости; да и порох мог подмокнуть. Итак, я попросил моих трех кредиторов приняться за работу и как можно ретивее: толочь лед около большой бочки и размешивать кислоту в остальных. Однако они смертельно надоедали мне вопросами – к чему все эти приготовления, и страшно злились на тяжелую работу, которую я заставил их делать. Какой прок, говорили они, выйдет из того, что они промокнут до костей, принимая участие в таком ужасном колдовстве? Я начинал чувствовать себя очень неловко и работал изо всех сил, так как эти дураки, видимо, действительно вообразили, будто я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они совсем уйдут от меня. Как бы то ни было, я старался уговорить их, обещая расплатиться полностью, лишь только мы доведем мое предприятие до конца. Без сомнения, они по-своему истолковали эти слова, решив, что я должен получить изрядную сумму чистоганом; а до моей души им, конечно, не было никакого дела, – лишь бы я уплатил долг да прибавил малую толику за услуги.

Через четыре с половиной часа шар был в достаточной степени наполнен. Я привязал корзину и положил в нее мой багаж: зрительную трубку, высотомер с некоторыми важными усовершенствованиями, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундные часы, колокольчик, рупор и прочее и прочее; кроме того, тщательно закупоренный пробкой стеклянный шар, из которого был выкачан воздух, аппарат для сгущения воздуха, запас негашеной извести, кусок воска и обильный запас воды и съестных припасов, главным образом пеммикана, который содержит много питательных веществ при сравнительно небольшом объеме. Я захватил также пару голубей и кошку.

Рассвет был близок, и я решил, что пора лететь. Уронив, словно нечаянно, сигару, я воспользовался этим предложением и, поднимая ее, зажег кончик фитиля, высовывавшийся, как было описано выше, из-под одной бочки меньшего размера. Этот маневр остался совершенно не замеченным моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним махом перерезал веревку, прикреплявшую шар к земле, и с удовольствием убедился, что поднимаюсь с головокружительной быстротой, унося с собою сто семьдесят пять фунтов балласта (а мог бы унести вдвое больше). В минуту взлета высотомер показывал тридцать дюймов, а термометр – 19°.

Но едва я поднялся на высоту пятидесяти ярдов, как вдогонку мне взвился с ужаснейшим ревом и свистом такой страшный вихрь огня, песку, горящих обломков, расплавленного металла, растерзанных тел, что сердце мое замерло и я повалился на дно корзины, дрожа от страха. Мне стало ясно, что я переусердствовал и что главные последствия толчка еще впереди. И точно, не прошло секунды, как вся моя кровь хлынула к вискам и тотчас раздался взрыв, которого я никогда не забуду. Казалось, рушится самый небосвод. Впоследствии, размышляя над этим приключением, я понял, что причиной столь непомерной силы взрыва было положение моего шара как раз на линии сильнейшего действия этого взрыва. Но в ту минуту я думал только о спасении жизни. Сначала шар съезжился, потом завертелся с ужасающей быстротой и, наконец, крутясь и шатаясь, точно пьяный, выбросил меня из корзины, так что я повис на страшной высоте вниз головой на тонкой бечевке фута в три длиною, случайно проскользнувшей в отверстие близ дна корзины и каким-то чудом обмотавшейся вокруг моей левой ноги. Невозможно, решительно невозможно изобразить ужас моего положения. Я задыхался, дрожь, точно при лихорадке, сотрясала каждый нерв, каждый мускул моего тела, я чувствовал, что глаза мои вылезают из орбит, отвратительная тошнота подступала к горлу, – и, наконец, я лишился чувств.

Долго ли я провисел в таком положении, решительно не знаю. Должно быть, немало времени, ибо, когда я начал приходить в сознание, утро уже наступило, шар несся на чудовищной высоте над безбрежным океаном, и ни признака земли не было видно по всему широкому кругу горизонта. Я, однако, вовсе не испытывал такого отчаяния, как можно было ожидать. В самом деле, было что-то безумное в том спокойствии, с каким я принялся обсуждать свое положение. Я поднес к глазам одну руку, потом другую и удивился, отчего это вены на них налились кровью и ногти так страшно посинели. Затем тщательно исследовал голову, несколько раз потряхнул ею, ощупал очень подробно и наконец убедился, к своему удовольствию, что она отнюдь не больше воздушного шара, как мне сначала представилось. Потом я ощупал карманы брюк и, не найдя в них записной книжки и футлярчика с зубочистками, долго старался объяснить себе, куда они девались, но, не успев в этом, почувствовал невыразимое огорчение. Тут я ощутил крайнюю неловкость в левой лодыжке, и у меня явилось смутное сознание моего положения. Но странное дело – я не был удивлен и не ужаснулся. Напротив, я чувствовал какое-то острое удовольствие при мысли о том, что так ловко выпутаюсь из стоявшей передо мной дилеммы, и ни на секунду не сомневался в том, что не погибну. В течение нескольких минут я предавался глубокому раздумью. Совершенно отчетливо помню, что я поджимал губы, приставлял палец к носу и делал другие жесты и гримасы, как это в обычае у людей, когда они, спокойно сидя в своем кресле, размышляют над запутанными или сугубо важными вопросами. Наконец, собравшись с мыслями, я очень спокойно и осторожно засунул руки за спину и снял с ремня, стягивавшего мои панталоны, большую железную пряжку. На ней было три зубца, несколько заржавевшие и потому с трудом повертывавшиеся вокруг своей оси. Тем не менее мне удалось поставить их под прямым углом к пряжке, и я с удовольствием убедился, что они держатся в этом положении очень прочно. Затем, взяв в зубы пряжку, я постарался развязать галстук, что мне удалось не сразу, но в конце концов удалось. К одному концу галстука я прикрепил пряжку, а другой крепко обвязал вокруг запястья. Затем со страшным усилием мускулов качнулся вперед и забросил ее в корзину, где, как я и ожидал, она застряла в петлях плетения.

Теперь мое тело по отношению к краю корзины образовало угол градусов в сорок пять. Но это вовсе не значит, что оно только на сорок пять градусов отклонялось от вертикальной линии. Напротив, я лежал почти горизонтально, так как, переменив положение, заставил корзину сильно наклониться, и мне по-прежнему угрожала большая опасность. Но если бы, вылетев из корзины, я повис лицом к шару, а не наружу, если бы веревка, за которую я зацепился, перекинулась через край корзины, а не выскользнула в отверстие на дне, мне не удалось бы даже то небольшое, что удалось теперь, и мои открытия были бы утрачены для потомства. Итак, я имел все основания благодарить судьбу. Впрочем, в эту минуту я все еще был слишком ошеломлен, чтобы испытывать какие-либо чувства, и с добрые четверть часа провисел совершенно спокойно, в бессмысленно-радостном настроении. Вскоре, однако, это настроение сменилось ужасом и отчаянием. Я понял всю меру своей беспомощности и близости к гибели. Дело в том, что кровь, застоявшаяся так долго в сосудах головы и гортани и доведшая мой мозг почти до бреда, мало-помалу отхлынула, и прояснившееся сознание, раскрыв передо мною весь ужас положения, в котором я очутился, только лишило меня самообладания и мужества. К счастью, этот припадок слабости не был продолжителен. На помощь мне явилось отчаяние: с яростным криком, судорожно извиваясь и раскачиваясь, я стал метаться, как безумный, пока наконец, уцепившись, точно клещами, за край корзины, не перекинулся через него и, весь дрожа, не свалился на дно.

Лишь спустя некоторое время я опомнился настолько, что мог приняться за осмотр воздушного шара. К моей великой радости, он оказался неповрежденным. Все мои запасы уцелели; я не потерял ни провизии, ни балласта. Впрочем, я уложил их так тщательно, что это и не могло случиться. Часы показывали шесть. Я все еще быстро поднимался; высотомер показывал высоту в три и три четверти мили. Как раз подо мною, на океане, виднелся маленький черный предмет – продолговатый, величиной с косточку домино, да и всем видом напоминавший ее. Направив на него зрительную трубку, я убедился, что это девяносточетырехпушечный, тяжело нагруженный английский корабль, – он медленно шел в направлении вест-зюйд-вест. Кроме него, я видел только море, небо и солнце, которое давно уже взошло.

Но пора мне объяснить вашим превосходительствам цель моего путешествия. Ваши превосходительства соизволят припомнить, что расстроенные обстоятельства в конце концов заставили меня прийти к мысли о самоубийстве. Это не значит, однако, что жизнь сама по себе мне опротивела, – нет, мне стало только невтерпех мое бедственное положение. В этом состоянии, желая жить и в то же время измученный жизнью, я случайно прочел книжку, которая, в связи с открытием моего нантского родственника, доставила обильную пищу моему воображению. И тут я наконец нашел выход. Я решил исчезнуть с лица земли, оставшись тем не менее в живых; покинуть этот мир, продолжая существовать, – одним словом, я решил во что бы то ни стало добраться до *Луны*. Чтобы не показаться совсем сумасшедшим, я теперь постараюсь изложить, как умею, соображения, в силу которых считал это предприятие – бесспорно, трудное и опасное – все же не совсем безнадежным для человека отважного.

Прежде всего, конечно, возник вопрос о расстоянии Луны от Земли. Известно, что среднее расстояние между *центрами* этих двух небесных тел равно 59,9643 экваториального *радиуса* земного шара, что составляет всего 237 000 миль. Я говорю о среднем расстоянии; но так как орбита Луны представляет собой эллипс, эксцентриситет которого достигает в длину не менее 0,05484 большой полуоси самого эллипса, а Земля расположена в фокусе последнего, – то, если бы мне удалось встретить Луну в перигелии, вышеуказанное расстояние сократилось бы весьма значительно. Но, даже оставив в стороне эту возможность, достаточно вычесть из этого расстояния радиус Земли, то есть 4000, и радиус Луны, то есть 1080, а всего 5080 миль, и окажется, что средняя длина пути при обыкновенных условиях составит 231 920 миль. Расстояние это не представляет собой ничего чрезвычайного. Путешествия на земле сплошь и рядом совершаются со средней скоростью 60 миль в час, и, без сомнения, есть полная возможность

увеличить эту скорость. Но даже если ограничиться ею, то, чтобы достичь Луны, потребуется не более 161 дня. Однако различные соображения заставляли меня думать, что средняя скорость моего путешествия намного превзойдет шестьдесят миль в час, и так как эти соображения оказали глубокое воздействие на мой ум, то я изложу их подробнее.

Прежде всего остановлюсь на следующем весьма важном пункте. Показания приборов при полетах говорят нам, что на высоте 1000 футов над поверхностью Земли мы оставляем под собой около одной тридцатой части всей массы атмосферного воздуха, на высоте 1060 футов – около трети, а на высоте 18 000 футов, то есть почти на высоте Котопахы, под нами остается половина – по крайней мере половина весомой массы воздуха, облегающего нашу планету. Вычислено также, что на высоте, не превосходящей одну сотую земного диаметра, то есть не более восьмидесяти миль, атмосфера разрежена до такой степени, что самые чувствительные приборы не могут обнаружить ее присутствия, и жизнь животного организма становится невозможной. Но я знал, что все эти расчеты основаны на опытном изучении свойств воздуха и законов его расширения и сжатия в непосредственном соседстве с Землей, причем считается доказанным, что свойства животного организма не могут меняться ни на каком расстоянии от земной поверхности. Между тем выводы, основанные на таких данных, без сомнения, проблематичны. Наибольшая высота, на которую когда-либо поднимался человек, достигнута аэронавтами гг. Гей-Люссаком и Био, поднявшимися на 25 000 футов. Высота очень незначительная, даже в сравнении с упомянутыми восьмьюдесятью милями. Стало быть, рассуждал я, тут останется мне немало места для сомнений и полный простор для догадок.

Кроме того, количество весомой атмосферы, которую шар оставляет за собою при подъеме, отнюдь не находится в прямой пропорции к высоте, а (как видно из вышеприведенных данных) в постоянно убывающем *ratio*⁶. Отсюда ясно, что, на какую бы высоту мы ни поднялись, мы никогда не достигнем такой границы, выше которой вовсе не существует атмосферы. Она должна существовать, рассуждал я, хотя, быть может, в состоянии бесконечного разрежения.

С другой стороны, мне было известно, что есть достаточно оснований допускать существование реальной определенной границы атмосферы, выше которой воздуха безусловно нет. Но одно обстоятельство, упущенное из виду защитниками этой точки зрения, заставляло меня сомневаться в ее справедливости и, во всяком случае, считать необходимой серьезную проверку. Если сравнить интервалы между регулярными появлениями кометы Энке в ее перигелии, принимая в расчет возмущающее действие притяжения планет, то окажется, что эти интервалы постепенно уменьшаются, то есть главная ось орбиты становится все короче. Так и должно быть, если допустить существование чрезвычайно разреженной эфирной среды, сквозь которую проходит орбита кометы. Ибо сопротивление подобной среды, замедляя движение кометы, очевидно, должно увеличивать ее центростремительную силу, уменьшая центробежную. Иными словами, действие солнечного притяжения постоянно усиливается, и комета с каждым периодом приближается к солнцу. Другого объяснения этому изменению орбиты не придумаешь. Кроме того, замечено, что поперечник кометы быстро уменьшается с приближением к солнцу и столь же быстро принимает прежнюю величину при возвращении кометы в афелий. И разве это кажущееся уменьшение объема кометы нельзя объяснить, вместе с господином Вальцом, сгущением вышеупомянутой эфирной среды, плотность которой увеличивается по мере приближения к солнцу? Явление, известное под именем зодиакального света, также заслуживает внимания. Чаше всего оно наблюдается под тропиками и не имеет ничего общего со светом, излучаемым метеорами. Это светлые полосы, тянущиеся от горизонта наискось и вверх, по направлению солнечного экватора. Они, несомненно, имеют связь не только с разреженной атмосферой, простирающейся от солнца по меньшей мере до орбиты Венеры, а

⁶ Здесь: порядке (*лат.*).

по моему мнению, и гораздо дальше⁷. В самом деле, я не могу допустить, чтобы эта среда ограничивалась орбитой кометы или пространством, непосредственно примыкающим к солнцу. Напротив, гораздо легче предположить, что она наполняет всю нашу планетную систему, сгущаясь поблизости от планет и образуя то, что мы называем атмосферными оболочками, которые, быть может, также изменялись под влиянием геологических факторов, то есть смешивались с испарениями, выделявшимися той или другой планетой. Остановившись на этой точке зрения, я больше не стал колебаться. Предполагая, что всюду на своем пути найду атмосферу, в основных чертах сходную с земной, я надеялся, что мне удастся с помощью остроумного аппарата господина Гримма сгустить ее в достаточной степени, чтобы дышать. Таким образом, главное препятствие для полета на Луну устранялось. Я затратил немало труда и изрядную сумму денег на покупку и усовершенствование аппарата и не сомневался, что он успешно выполнит свое назначение, лишь бы путешествие не затянулось. Это соображение заставляет меня вернуться к вопросу о возможной скорости такого путешествия.

Известно, что воздушные шары в первые минуты взлета поднимаются сравнительно медленно. Быстрота подъема всецело зависит от разницы между плотностью атмосферного воздуха и газа, наполняющего шар. Если принять в расчет это обстоятельство, то покажется совершенно невероятным, чтобы скорость восхождения могла увеличиться в верхних слоях атмосферы, плотность которых быстро уменьшается. С другой стороны, я не знаю ни одного отчета о воздушном путешествии, в котором бы сообщалось об уменьшении скорости по мере подъема; а между тем она, несомненно, должна бы была уменьшаться – хотя бы вследствие просачивания газа сквозь оболочку шара, покрытую обыкновенным лаком, – не говоря о других причинах. Одна эта потеря газа должна бы тормозить ускорение, возникающее в результате удаления шара от центра Земли. Имея в виду все эти обстоятельства, я полагал, что если только найду на моем пути среду, о которой упоминал выше, и если эта среда в основных своих свойствах будет представлять собой то самое, что мы называем атмосферным воздухом, то степень ее разрежения не окажет особого влияния – то есть не отразится на быстроте моего взлета, – так как по мере разрежения среды станет соответственно разрежаться и газ внутри шара (для предотвращения разрыва оболочки я могу выпускать его по мере надобности с помощью клапана); в то же время, оставаясь тем, что он есть, газ всегда окажется относительно легче, чем какая бы то ни была смесь азота с кислородом. Таким образом, я имел основание надеяться – даже, собственно говоря, быть почти уверенным, – что ни в какой момент моего взлета мне не придется достигнуть пункта, в котором вес моего огромного шара, заключенного в нем газа, корзины и ее содержимого превзойдет вес вытесняемого ими воздуха. А только это последнее обстоятельство могло бы остановить мое восхождение. Но если даже я и достигну такого пункта, то могу выбросить около трехсот фунтов балласта и других материалов. Тем временем сила тяготения будет непрерывно уменьшаться пропорционально квадратам расстояний, а скорость полета увеличиваться в чудовищной прогрессии, так что в конце концов я попаду в сферу, где земное притяжение уступит место притяжению Луны.

Еще одно обстоятельство несколько смущало меня. Замечено, что при подъеме воздушного шара на значительную высоту воздухоплаватель испытывает, помимо затрудненного дыхания, ряд болезненных ощущений, сопровождающихся кровотечением из носа и другими тревожными признаками, которые усиливаются по мере подъема⁸. Это обстоятельство навело на размышления весьма неприятного свойства. Что, если эти болезненные явления будут все усиливаться и окончатся смертью? Однако я решил, что этого вряд ли следует опасаться:

⁷ Этот зодиакальный свет, по всей вероятности, то же самое, что древние называли «огненными столбами». См.: *Плиний*, II, 26. – *Прим. авт.*

⁸ После опубликования отчета Ганса Пфаала я узнал, что известный аэронавт мистер Грин и другие позднейшие воздухоплаватели опровергают мнение Гумбольдта об этом предмете и говорят об уменьшении болезненных явлений, – вполне согласно с изложенной здесь теорией. – *Прим. авт.*

ведь их причина заключается в постепенном уменьшении обычного атмосферного давления на поверхность тела и в соответственном расширении поверхностных кровяных сосудов, а не в расстройстве органической системы, как при затрудненном дыхании, вызванном тем, что разреженный воздух по своему химическому составу недостаточен для обновления крови в желудках сердца. Оставив в стороне это недостаточное обновление крови, я не вижу, почему бы жизнь не могла продолжаться даже в вакууме, так как расширение и сжатие груди, называемое обычно дыханием, есть чисто мышечное явление и вовсе не следствие, а причина дыхания. Словом, я рассудил, что, когда тело привыкнет к недостаточному атмосферному давлению, болезненные ощущения постепенно уменьшатся, а я пока что уж как-нибудь перетерплю, здоровье у меня железное.

Таким образом, я, с позволения ваших превосходительств, подробно изложил некоторые – хотя далеко не все – соображения, которые легли в основу моего плана путешествия на Луну. А теперь возвращусь к описанию результатов моей попытки – с виду столь безрассудной и, во всяком случае, единственной в летописях человечества.

Достигнув уже упомянутой высоты в три и три четверти мили, я выбросил из корзины горсть перьев и убедился, что шар мой продолжает подниматься с достаточной быстротой и, следовательно, пока нет надобности выбрасывать балласт. Я был очень доволен этим обстоятельством, так как хотел сохранить как можно больше тяжести, не зная наверняка, какова степень притяжения Луны и плотность лунной атмосферы. Пока я не испытывал никаких болезненных ощущений, дышал вполне свободно и не чувствовал ни малейшей головной боли. Кошка расположилась на моем пальто, которое я снял, и с напускным равнодушием поглядывала на голубей. Голуби, которых я привязал за ноги, чтобы они не улетели, деловито клевали зерна риса, насыпанные на дно корзины. В двадцать минут седьмого высотомер показал высоту в 26 400 футов, то есть пять с лишним миль. Простор, открывавшийся подо мною, казался безграничным. На самом деле, с помощью сферической тригонометрии нетрудно вычислить, какую часть земной поверхности я мог охватить взглядом. Ведь выпуклая поверхность сегмента шара относится ко всей его поверхности, как обращенный синус сегмента к диаметру шара. В данном случае обращенный синус – то есть, иными словами, толщина сегмента, находившегося подо мною, почти равнялась расстоянию, на котором я находился от Земли, или высоте пункта наблюдения; следовательно, часть земной поверхности, доступная моему зрению, выражалась отношением пяти миль к восьми тысячам. Иными словами, я видел одну тысячестисотую часть всей земной поверхности. Море казалось гладким, как зеркало, хотя в зрительную трубу я мог убедиться, что волнение на нем очень сильное. Корабль давно исчез в восточном направлении. Теперь я по временам испытывал жестокую головную боль, в особенности за ушами, хотя дышал довольно свободно. Кошка и голуби чувствовали себя, по-видимому, как нельзя лучше.

Без двадцати минут семь мой шар попал в слой густых облаков, которые причинили мне немало неприятностей, повредив ступающий аппарат и промочив меня до костей. Это была, без сомнения, весьма странная встреча: я никак не ожидал, что подобные облака могут быть на такой огромной высоте. Все же я счел за лучшее выбросить два пятифунтовых мешка с балластом, оставив про запас сто шестьдесят пять фунтов. После этого я быстро выбрался из облаков и убедился, что скорость подъема значительно возросла. Спустя несколько секунд после того, как я оставил под собой облако, молния прорезала его с одного конца до другого, и все оно вспыхнуло, точно груды раскаленного угля. Напомню, что это происходило при ясном дневном свете. Никакая фантазия не в силах представить себе великолепие подобного явления; случись оно ночью, оно было бы точной картиной ада. Даже теперь волосы поднялись дыбом на моей голове, когда я смотрел в глубь этих зияющих бездн и мое воображение блуждало среди огненных зал с причудливыми сводами, развалин и пропастей, озаренных багровым, нездешним светом. Я едва избежал опасности. Если бы шар помедлил еще немного внутри облака

– иными словами, если бы сырость не заставила меня выбросить два мешка с балластом, – последствием могла быть – и была бы, по всей вероятности, – моя гибель. Такие случайности для воздушного шара, может быть, опаснее всего, хотя их обычно не принимают в расчет. Тем временем я оказался уже на достаточной высоте, чтобы считать себя застрахованным от дальнейших приключений в том же роде.

Я продолжал быстро подниматься, и к семи часам высотомер показал высоту не менее девяти с половиной миль. Мне уже становилось трудно дышать, голова мучительно болела, с некоторых пор я чувствовал какую-то влагу на щеках и вскоре убедился, что из ушей у меня течет кровь. Глаза тоже болели; когда я провел по ним рукой, мне показалось, что они вылезли из орбит; все предметы в корзине и самый шар приняли уродливые очертания. Эти болезненные симптомы оказались сильнее, чем я ожидал, и не на шутку встревожили меня. Расстроенный, хорошенько не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я совершил нечто в высшей степени неблагоразумное: выбросил из корзины три пятифунтовых мешка с балластом. Шар рванулся и перенес меня сразу в столь разреженный слой атмосферы, что результат едва не оказался роковым для меня и моего предприятия. Я внезапно почувствовал припадок удушья, продолжавшийся не менее пяти минут; даже когда он прекратился, я не мог вздохнуть как следует. Кровь струилась у меня из носа, из ушей и даже из глаз. Голуби отчаянно бились, стараясь вырваться на волю; кошка жалобно мяукала и, высунув язык, металась туда и сюда, точно проглотила отраву. Слишком поздно поняв свою ошибку, я пришел в отчаяние. Я ожидал неминуемой и близкой смерти. Физические страдания почти лишили меня способности предпринять что-либо для спасения своей жизни, мозг почти отказывался работать, а головная боль усиливалась с каждой минутой. Чувствуя близость обморока, я хотел было дернуть веревку, соединенную с клапаном, чтобы спуститься на землю, – как вдруг вспомнил о том, что я проделал с кредиторами, и о вероятных последствиях, ожидающих меня в случае возвращения на землю. Это воспоминание остановило меня. Я лег на дно корзины и постарался собраться с мыслями. Это удалось мне настолько, что я решил пустить себе кровь. За неимением ланцета я произвел эту операцию, открыв вену на левой руке с помощью перочинного ножа. Как только потекла кровь, я почувствовал большое облегчение, а когда вышло с полчашки, худшие из болезненных симптомов совершенно исчезли. Все ж я не решился встать и, кое-как забинтовав руку, пролежал еще с четверть часа. Наконец я поднялся; оказалось, что все болезненные ощущения, преследовавшие меня в течение последнего часа, исчезли. Только дыхание было по-прежнему затруднено, и я понял, что вскоре придется прибегнуть к конденсатору. Случайно взглянув на кошку, которая снова улеглась на пальто, я увидел, к своему крайнему изумлению, что во время моего припадка она разрешилась тремя котятками. Этого прибавления пассажиров я отнюдь не ожидал, но был им очень доволен: оно давало мне возможность проверить гипотезу, которая более, чем что-либо другое, повлияла на мое решение. Я объяснял болезненные явления, испытываемые воздухоплателем на известной высоте, привычкой к определенному давлению атмосферы около земной поверхности. Если котята будут страдать в такой же степени, как мать, то моя теория, видимо, ошибочна, если же нет – она вполне подтвердится.

К восьми часам я достиг семнадцати миль над поверхностью земли. Очевидно, скорость подъема возрастала, и если бы даже я не выбросил балласта, то заметил бы это ускорение, хотя, конечно, оно не совершилось бы так быстро. Жестокая боль в голове и ушах по временам возвращалась; иногда текла из носа кровь; но, в общем, страдания мои были гораздо незначительнее, чем я ожидал. Только дышать становилось все труднее, и каждый вздох сопровождался мучительными спазмами в груди. Я распаковал аппарат для конденсации воздуха и принялся налаживать его.

С этой высоты на землю открывался великолепный вид. К западу, к северу и к югу, насколько мог охватить глаз, расстилалась бесконечная гладь океана, приобретающая с каждой минутой все более яркий голубой оттенок. Вдали, на востоке, вырисовывалась Велико-

британия, все Атлантическое побережье Франции и Испании и часть северной окраины африканского материка. Подробностей, разумеется, не было видно, и самые пышные города точно исчезли с лица земли.

Больше всего удивила меня кажущаяся вогнутость земной поверхности. Я, напротив, ожидал, что по мере подъема она будет представлять мне все более выпуклой; но, подумав немного, сообразил, что этого не могло быть. Перпендикуляр, опущенный из пункта моего наблюдения к земной поверхности, представлял бы собой один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого простиралось до горизонта, а гипотенуза – от горизонта к моему шару. Но высота, на которой я находился, была ничтожна сравнительно с пространством, которое я мог обозреть. Иными словами, основание и гипотенуза упомянутого треугольника были бы так велики сравнительно с высотой, что могли бы считаться почти параллельными линиями. Поэтому горизонт для аэронавта остается всегда на одном уровне с корзиной. Но точка, находящаяся под ним внизу, кажется отстоящей и действительно отстоит на огромное расстояние – следовательно, ниже горизонта. Отсюда – впечатление вогнутости, которое и останется до тех пор, пока высота не достигнет такого отношения к диаметру видимого пространства, при котором кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет.

Так как голуби все время жестоко страдали, я решил выпустить их. Сначала я отвязал одного – серого крапчатого красавца – и посадил на обруч сетки. Он очень забеспокоился, жалобно поглядывал кругом, хлопал крыльями, ворковал, но не решался вылететь из корзины. Тогда я взял его и отбросил ярдов на пять-шесть от шара. Однако он не полетел вниз, как я ожидал, а изо всех сил устремился обратно к шару, издавая резкие, пронзительные крики. Наконец ему удалось вернуться на старое место, но, едва усевшись на обруч, он уронил головку на грудь и упал мертвым в корзину. Другой был счастливее. Чтобы предупредить его возвращение, я изо всех сил швырнул его вниз и с радостью увидел, что он продолжает спускаться, быстро, легко и свободно взмахивая крыльями. Вскоре он исчез из виду и, не сомневаюсь, благополучно добрался до земли. Кошка, по-видимому оправившаяся от своего припадка, с аппетитом съела мертвого голубя и улеглась спать. Котята были живы и не обнаруживали пока ни малейших признаков заболевания.

В четверть девятого, испытывая почти невыносимые страдания при каждом затрудненном вздохе, я стал прилаживать к корзине аппарат, составлявший часть конденсатора. Он требует, однако, более подробного описания. Ваши превосходительства благоволят заметить, что целью моею было защитить себя и корзину как бы барьером от разреженного воздуха, который теперь окружал меня, с тем чтобы ввести внутрь корзины нужный для дыхания конденсированный воздух. С этой целью я заготовил плотную, совершенно непроницаемую, но достаточно эластичную каучуковую камеру в виде мешка. В этот мешок поместилась вся моя корзина, то есть он охватывал ее дно и края до верхнего обруча, к которому была прикреплена сетка. Оставалось только стянуть края наверху, над обручем, то есть просунуть эти края между обручем и сеткой. Но если отделить сетку от обруча, чтобы пропустить края мешка, – на чем будет держаться корзина? Я разрешил это затруднение следующим образом: сетка не была наглухо соединена с обручем, а прикреплена посредством петель. Я снял несколько петель, предоставив корзине держаться на остальных, просунул края мешка над обручем и снова пристегнул петли, – не к обручу, разумеется, оттого что он находился под мешком, а к пуговицам на мешке, соответствовавшим петлям и пришитым футу на три ниже края; затем отстегнул еще несколько петель, просунул еще часть мешка и снова пристегнул петли к пуговицам. Таким образом мне мало-помалу удалось пропустить весь верхний край мешка между обручем и сеткой.

Понятно, что обруч опустился в корзину, которая со всем содержимым держалась теперь только на пуговицах. На первый взгляд это грозило опасностью – но лишь на первый взгляд: пуговицы были не только очень прочны сами по себе, но и посажены так тесно, что на каждую приходилась лишь незначительная часть всей тяжести. Если бы корзина с ее содержимым была

даже втрое тяжелее, меня это ничуть бы не беспокоило. Я снова приподнял обруч и прикрепил его почти на прежней высоте с помощью трех заранее приготовленных перекладин. Это я сделал для того, чтобы мешок оставался наверху растянутым и нижняя часть сетки не изменила своего положения. Теперь оставалось только закрыть мешок, что я и сделал без труда, собрав складками его верхний край и стянув их туго-натуго при помощи устойчивого вертлюга.

В боковых стенках мешка были сделаны три круглые окошка с толстыми, но прозрачными стеклами, сквозь которые я мог смотреть во все стороны по горизонтали. Такое же окошко находилось внизу и соответствовало небольшому отверстию в дне корзины: сквозь него я мог смотреть вниз. Но вверху нельзя было устроить такое окно, ибо верхний, стянутый, край мешка был собран складками. Впрочем, в этом окне и надобности не было, так как шар все заслонил бы собою.

Под одним из боковых окошек, примерно на расстоянии фута, имелось отверстие дюйма в три диаметром; а в отверстие было вставлено медное кольцо с винтовыми нарезками на внутренней поверхности. В это кольцо ввинчивалась трубка конденсатора, помещавшегося, само собою разумеется, внутри каучуковой камеры. Через эту трубку разреженный воздух втягивался с помощью вакуума, образовавшегося в аппарате, сгущался и проходил в камеру. Повторив эту операцию несколько раз, можно было наполнить камеру воздухом, вполне пригодным для дыхания. Но в столь тесном помещении воздух, разумеется, должен был быстро портиться вследствие частого соприкосновения с легкими и становиться непригодным для дыхания. Тогда его можно было выбрасывать посредством небольшого клапана на дне мешка; будучи более тяжелым, этот воздух быстро опускался вниз, рассеиваясь в более легкой наружной атмосфере. Из опасения создать полный вакуум в камере при выпуске воздуха очистка последнего никогда не производилась сразу, а лишь постепенно. Клапан открывался секунды на две – на три, потом замыкался, и так – несколько раз, пока конденсатор не заменял вытесненный воздух запасом нового. Ради опыта я положил кошку и котят в корзиночку, которую подвесил снаружи к пуговице, находящейся подле клапана; открывая клапан, я мог кормить кошек по мере надобности. Я сделал это раньше, чем затянул камеру, с помощью одного из упомянутых выше шестов, поддерживавших обруч. Как только камера наполнилась сконденсированным воздухом, шесты и обруч оказались излишними, ибо, расширяясь, внутренняя атмосфера и без них растягивала каучуковый мешок.

Когда я приладил все эти приборы и наполнил камеру, было всего без десяти минут девять. Все это время я жестоко страдал от недостатка воздуха и горько упрекал себя за небрежность или, скорее, за безрассудную смелость, побудившую меня отложить до последней минуты столь важное дело. Но, когда наконец все было готово, я тотчас почувствовал благотворные последствия своего изобретения. Я снова дышал легко и свободно, – да и почему бы мне не дышать? К моему удовольствию и удивлению, жестокие страдания, терзавшие меня до сих пор, почти совершенно исчезли. Осталось только ощущение какой-то раздутости или растяжения в запястьях, лодыжках и гортани. Очевидно, мучительные ощущения, вызванные недостаточным атмосферным давлением, давно прекратились, а болезненное состояние, которое я испытывал в течение последних двух часов, происходило только вследствие затрудненного дыхания.

В сорок минут девятого, то есть незадолго до того, как я затянул отверстие мешка, ртуть опустилась до нижнего уровня в высотомере. Я находился на высоте 132 000 футов, то есть двадцати пяти миль, и, следовательно, мог обозревать не менее одной триста двадцатой всей земной поверхности. В девять часов я снова потерял из виду Землю на востоке, заметив при этом, что шар быстро несется в направлении норд-норд-вест. Расстилавшийся подо мною океан все еще казался вогнутым; впрочем, облака часто скрывали его от меня.

В половине десятого я снова выбросил из корзины горсть перьев. Они не полетели, как я ожидал, но упали, как пуля, – всей кучей, с невероятною быстротою, – и в несколько секунд исчезли из виду. Сначала я не мог объяснить себе это странное явление; мне казалось неверо-

ятным, чтобы быстрота подъема так страшно возросла. Но вскоре я сообразил, что разреженная атмосфера уже не могла поддерживать перья, — они действительно упали с огромной быстротой; и поразившее меня явление обусловлено было сочетанием скорости падения перьев со скоростью подъема моего шара.

Часам к десяти мне уже нечего было особенно наблюдать. Все шло исправно; быстрота подъема, как мне казалось, постоянно возрастала, хотя я не мог определить степень этого возрастания. Я не испытывал никаких болезненных ощущений, а настроение духа было бодрее, чем когда-либо после моего вылета из Роттердама! Я коротал время, осматривая инструменты и обновляя воздух в камере. Я решил повторять это через каждые сорок минут — скорее для того, чтобы предохранить свой организм от возможных нарушений его деятельности, чем по действительной необходимости. В то же время я невольно уносился мыслями вперед. Воображение мое блуждало в диких, сказочных областях Луны, необузданная фантазия рисовала мне обманчивые чудеса этого призрачного и неустойчивого мира. То мне мерещились дремучие вековые леса, крутые утесы, шумные водопады, низвергавшиеся в бездонные пропасти. То я переносился в пустынные просторы, залитые лучами полуденного солнца, куда ветерок не залетал от века, где воздух точно окаменел и всюду, куда хватает глаз, расстилаются луговины, поросшие маком и стройными лилиями, безмолвными, словно оцепеневшими. То вдруг являлось передо мною озеро, темное, неясное, сливавшееся вдали с грядками облаков. Но не только эти картины рисовались моему воображению. Мне рисовались ужасы, один другого грознее и причудливее, и даже мысль об их возможности потрясала меня до глубины души. Впрочем, я старался не думать о них, справедливо полагая, что действительные и осязаемые опасности моего предприятия должны поглотить все мое внимание.

В пять часов пополудни, обновляя воздух в камере, я заглянул в корзину с кошками. Мать, по-видимому, жестоко страдала, несомненно, вследствие затрудненного дыхания; но котята изумили меня. Я ожидал, что они тоже будут страдать, хотя и в меньшей степени, чем кошка, что подтвердило бы мою теорию насчет нашей привычки к известному атмосферному давлению. Оказалось, однако, — чего я вовсе не ожидал, — что они совершенно здоровы, дышат легко и свободно и не обнаруживают ни малейших признаков какого-либо органического расстройства. Я могу объяснить это явление, только расширив мою теорию и предположив, что крайне разреженная атмосфера не представляет (как я вначале думал) со стороны ее химического состава никакого препятствия для жизни и существо, родившееся в такой среде, будет дышать в ней без всякого труда, а попавши в более плотные слои по соседству с Землей, испытает те же мучения, которым я подвергался так недавно. Очень сожалею, что вследствие несчастной случайности я потерял эту кошачью семейку и не мог продолжать свои опыты. Просунув чашку с водой для старой кошки в отверстие мешка, я зацепил рукавом за шнурок, на котором висела корзинка, и дернул его с пуговицы. Если бы корзинка с кошками каким-нибудь чудом испарилась в воздухе — она не могла бы исчезнуть с моих глаз быстрее, чем сейчас. Не прошло положительно и десятой доли секунды, как она уже скрылась со всеми своими пассажирами. Я пожелал им счастливого пути, но, разумеется, не питал никакой надежды, что кошка или котята останутся в живых, дабы рассказать о своих бедствиях.

В шесть часов значительная часть Земли на востоке покрылась густой тенью, которая быстро надвигалась, так что в семь без пяти минут вся видимая поверхность Земли погрузилась в ночную тьму. Но долго еще после этого лучи заходящего солнца освещали мой шар; и это обстоятельство, которое, конечно, можно было предвидеть заранее, доставляло мне большую радость. Значит, я и утром увижу восходящее светило гораздо раньше, чем добрые граждане Роттердама, несмотря на более восточное положение этого города, и, таким образом, буду пользоваться все более и более продолжительным днем соответственно с высотой, которой буду достигать. Я решил вести дневник моего путешествия, отмечая дни через каждые двадцать четыре часа и не принимая в расчет ночей.

В десять часов меня стало клонить ко сну, и я решил было улечься, но меня остановило одно обстоятельство, о котором я совершенно забыл, хотя должен был предвидеть его заранее. Если я засну, кто же будет накачивать воздух в камеру? Дышать в ней можно было самое большее час; если продлить этот срок даже на четверть часа, последствия могли быть самые губительные. Затруднение это очень смутило меня, и хотя мне едва ли поверят, но, несмотря на преодоление стольких опасностей, я готов был отчаяться перед новым, потерял всякую надежду на исполнение моего плана и уже подумывал о спуске. Впрочем, то было лишь минутное колебание. Я рассудил, что человек – верный раб привычек, и многие мелочи повседневной жизни только кажутся ему существенно важными, а на самом деле они сделались такими единственно в результате привычки. Конечно, я не мог обойтись без сна, но что мешало мне приучить себя просыпаться через каждый час в течение всей ночи? Для полного обновления воздуха достаточно было пяти минут. Меня затруднял только способ, каким я буду будить себя в надлежащее время. Правду сказать, я долго ломал себе голову над разрешением этого вопроса. Я слышал, что студенты прибегают к такому приему: взяв в руку медную пулю, держат ее над медным тазиком; и, если студенту случится задремать над книгой, пуля падает, и ее звон о тазик будит его. Но для меня подобный способ вовсе не годился, так как я не намерен был бодрствовать все время, а хотел лишь просыпаться через определенные промежутки времени. Наконец я придумал приспособление, которое при всей своей простоте показалось мне в первую минуту открытием не менее блестящим, чем изобретение телескопа, паровой машины или даже книгопечатания.

Необходимо заметить, что на той высоте, которой я достиг в настоящее время, шар продолжал подниматься без толчков и отклонений, совершенно равномерно, так что корзина не испытывала ни малейшей тряски. Это обстоятельство явилось как нельзя более кстати для моего изобретения. Мой запас воды помещался в бочонках, по пяти галлонов каждый, они были выстроены вдоль стенки корзины. Я отвязал один бочонок и, достав две веревки, натянул их поперек корзины вверху, на расстоянии фута одну от другой, так что они образовали нечто вроде полки. На эту полку я взгромоздил бочонок, положив его горизонтально. Под бочонком, на расстоянии восьми дюймов от веревок и четырех футов от дна корзины, прикрепил другую полку, употребив для этого тонкую дощечку, единственную, имевшуюся у меня в запасе. На дощечку поставил небольшой глиняный кувшинчик. Затем провертел дырку в стенке бочонка над кувшином и заткнул ее втулкой из мягкого дерева. Вдвигая и выдвигая втулку, я наконец установил ее так, чтобы вода, просачиваясь сквозь отверстие, наполняла кувшинчик до краев за шестьдесят минут. Рассчитать это было нетрудно, проследив, какая часть кувшина наполняется в известный промежуток времени. Остальное понятно само собою. Я устроил себе постель на дне корзины так, чтобы голова приходилась под носиком кувшина. Ясно, что по истечении часа вода, наполнив кувшин, должна была выливаться из носика, находившегося несколько ниже его краев. Ясно также, что, орошая лицо мое с высоты четырех футов, вода должна была разбудить меня, хотя бы я заснул мертвым сном.

Было уже одиннадцать часов, когда я покончил с устройством этого будильника. Затем я немедленно улегся спать, вполне положившись на мое изобретение. И мне не пришлось разочароваться в нем. Точно через каждые шестьдесят минут я вставал, разбуженный моим верным хронометром, выливал из кувшина воду обратно в бочонок и, обновив воздух с помощью конденсатора, снова укладывался спать. Эти регулярные перерывы в сне беспокоили меня даже меньше, чем я ожидал. Когда я встал утром, было уже семь часов, и солнце поднялось на несколько градусов над линией горизонта.

3 апреля. – Я убедился, что мой шар находится на огромной высоте, так как выпуклость Земли была теперь ясно видна. Подо мной, в океане, можно было различить скопление каких-то темных пятен – без сомнения, острова. Небо над головой казалось агатово-черным, звезды блистали; они стали видны с первого же дня моего полета. Далеко по направлению к северу

я заметил тонкую белую, ярко блестящую линию, или полосу, на краю неба, в которой не колеблясь признал южную окраину полярных льдов. Мое любопытство было сильно возбуждено, так как я рассчитывал, что буду лететь гораздо дальше к северу и, может быть, окажусь над самым полюсом. Я пожалел, что огромная высота, на которой я находился, не позволит мне осмотреть его как следует. Но все-таки я мог заметить многое.

В течение дня не случилось ничего особенного. Все мои приборы действовали исправно, и шар поднимался без всяких толчков. Сильный холод заставил меня плотнее закутаться в пальто. Когда Земля оделась ночным мраком, я улегся спать, хотя еще много часов спустя вокруг моего шара стоял белый день. Водяные часы добросовестно исполняли свою обязанность, и я спокойно проспал до утра, пробуждаясь лишь для того, чтобы обновить воздух.

4 апреля. – Встал здоровым и бодрым и был поражен тем, как странно изменился вид океана. Он утратил свою темно-голубую окраску и казался серовато-белым, притом он ослепительно блестел. Выпуклость океана была видна так четко, что громада воды, находившейся подо мною, точно низвергалась в пучину по краям неба, и я невольно прислушивался, стараясь расслышать грохот этих мощных водопадов. Островов не было видно, потому ли, что они исчезли за горизонтом в юго-восточном направлении, или все растущая высота уже лишала меня возможности видеть их. Последнее предположение казалось мне, однако, более вероятным. Полоса льдов на севере выступала все яснее. Холод не усиливался. Ничего особенного не случилось, и я провел день за чтением книг, которые захватил с собою.

5 апреля. – Отмечаю любопытный феномен: солнце взошло, однако вся видимая поверхность Земли все еще была погружена в темноту. Но мало-помалу она осветилась, и снова показалась на севере полоса льдов. Теперь она выступала очень ясно и казалась гораздо темнее, чем воды океана. Я, очевидно, приближался к ней, и очень быстро. Мне казалось, что я различаю Землю на востоке и на западе, но я не был в этом уверен. Температура умеренная. В течение дня не случилось ничего особенного. Рано лег спать.

6 апреля. – Был удивлен, увидев полосу льда на очень близком расстоянии, а также бесконечное ледяное поле, простиравшееся к северу. Если шар сохранит то же направление, то я скоро окажусь над Ледовитым океаном и, несомненно, увижу полюс. В течение дня я неуклонно приближался ко льдам. К ночи пределы моего горизонта неожиданно и значительно расширились, без сомнения, потому, что Земля имеет форму сплюснутого сфероиды, и я находился теперь над плоскими областями вблизи Полярного круга. Когда наступила ночь, я лег спать, охваченный тревогой, ибо опасался, что предмет моего любопытства, скрытый ночной темнотой, ускользнет от моих наблюдений.

7 апреля. – Встал рано и, к своей великой радости, действительно увидел Северный полюс. Не было никакого сомнения, что это именно полюс и он находится прямо подо мною. Но, увы! Я поднялся на такую высоту, что ничего не мог рассмотреть в подробностях. В самом деле, если составить прогрессию моего восхождения на основании чисел, указывавших высоту шара в различные моменты между шестью утра 2 апреля и девятью без двадцати минут утра того же дня (когда высотомер перестал действовать), то теперь, в четыре утра седьмого апреля, шар должен был находиться на высоте не менее 7254 миль над поверхностью океана. (С первого взгляда эта цифра может показаться грандиозной, но, по всей вероятности, она была гораздо ниже действительной.) Во всяком случае, я видел всю площадь, соответствовавшую большому диаметру Земли; все Северное полушарие лежало подо мною наподобие карты в ортографической проекции, и линия экватора образовывала линию моего горизонта. Итак, ваши превосходительства без труда поймут, что лежавшие подо мною неизведанные области в пределах Полярного круга находились на столь громадном расстоянии и в столь уменьшенном виде, что рассмотреть их подробно было невозможно. Все же мне удалось увидеть кое-что замечательное. К северу от упомянутой линии, которую можно считать крайней границей человеческих открытий в этих областях, расстиралось сплошное или почти сплошное поле.

Поверхность его, будучи вначале плоской, мало-помалу понижалась, принимая заметно вогнутую форму, и завершалась у самого полюса круглой, резко очерченной впадиной. Последняя казалась гораздо темнее остального полушария и была местами совершенно черного цвета. Диаметр впадины соответствовал углу зрения в шестьдесят пять секунд. Больше ничего нельзя было рассмотреть. К двенадцати часам впадина значительно уменьшилась, а в семь пополудни я потерял ее из вида: шар миновал западную окраину льдов и несясь по направлению к экватору.

8 апреля. – Видимый диаметр Земли заметно уменьшился, окраска совершенно изменилась. Вся доступная наблюдению площадь казалась бледно-желтого цвета различных оттенков, местами блестела так, что больно было смотреть. Кроме того, мне сильно мешала насыщенная испарениями плотная земная атмосфера; я лишь изредка видел самую Землю в просветах между облаками. В течение последних сорока восьми часов эта помеха давала себя чувствовать в более или менее сильной степени, а при той высоте, которой теперь достиг шар, груды облаков сблизилась в поле зрения еще теснее, и наблюдать Землю становилось все затруднительнее. Тем не менее я убедился, что шар летит над областью Великих озер в Северной Америке, стремясь к югу, и я скоро достигну тропиков. Это обстоятельство весьма обрадовало меня, так как сулило успех моему предприятию. В самом деле, направление, в котором я несясь до сих пор, крайне тревожило меня, так как, продолжая двигаться в том же направлении, я бы вовсе не попал на Луну, орбита которой наклонена к эклиптике под небольшим углом $5^{\circ}8'48''$. Странно, что я так поздно уразумел свою ошибку: мне следовало подняться из какого-нибудь пункта в плоскости лунного эллипса.

9 апреля. – Сегодня диаметр Земли значительно уменьшился, окраска ее приняла более яркий желтый оттенок. Мой шар держал курс на юг, и в девять утра он достиг северной окраины Мексиканского залива.

10 апреля. – Около пяти часов утра меня разбудил оглушительный треск, который я решительно не мог себе объяснить. Он продолжался всего несколько мгновений и не походил ни на один из слышанных мною доселе звуков. Нечего и говорить, что я страшно перепугался: в первую минуту мне почудилось, что шар лопнул. Я осмотрел свои приборы, однако все они оказались в порядке. Большую часть дня я провел в размышлениях об этом странном треске, но не мог никак его объяснить. Лег спать крайне обеспокоенный и взволнованный.

11 апреля. – Диаметр Земли поразительно уменьшился, и я в первый раз заметил значительное увеличение диаметра Луны. Теперь приходилось затрачивать немало труда и времени, чтобы сгустить достаточно воздуха, нужного для дыхания.

12 апреля. – Странно изменилось направление шара; и хотя я предвидел это заранее, но все-таки обрадовался несказанно. Достигнув двадцатой параллели Южного полушария, шар внезапно повернул под острым углом на восток и весь день летел в этом направлении, оставаясь в плоскости лунного эллипса. Достоин замечания, что следствием этой перемены было довольно заметное колебание корзины, ощущавшееся в течение нескольких часов.

13 апреля. – Снова был крайне встревожен громким треском, который так меня напугал десятого. Долго думал об этом явлении, но ничего не мог придумать. Значительное уменьшение диаметра Земли: теперь его угловая величина лишь чуть побольше двадцати пяти градусов. Луна находится почти у меня над головой, так что я не могу ее видеть. Шар по-прежнему летит в ее плоскости, переместившись несколько на восток.

14 апреля. – Стремительное уменьшение диаметра Земли. Шар, по-видимому, поднялся над линией абсид по направлению к перигелию – то есть, иными словами, стремится прямо к Луне, в части ее орбиты, наиболее близкой к земному шару. Сама Луна находится над моей головой, то есть недоступна наблюдению. Обновление воздуха в камере потребовало усиленного и продолжительного труда.

15 апреля. – На Земле нельзя рассмотреть даже самых общих очертаний материков и морей. Около полудня я в третий раз услышал загадочный треск, столь поразивший меня

раньше. Теперь он продолжался несколько секунд, постепенно усиливаясь. Оцепенев от ужаса, я ожидал какой-нибудь страшной катастрофы, когда корзину вдруг сильно встряхнуло и мимо моего шара с ревом, свистом и грохотом пронеслась огромная огненная масса. Оправившись от ужаса и изумления, я сообразил, что это должен быть вулканический обломок, выброшенный с небесного тела, к которому я так быстро приближался, и, по всей вероятности, принадлежащий к разряду тех странных камней, которые попадают иногда на нашу Землю и называются метеорами.

16 апреля. – Сегодня, заглянув в боковые окна камеры, я, к своему великому удовольствию, увидел, что край лунного диска выступает над шаром со всех сторон. Я был очень взволнован, чувствуя, что скоро наступит конец моему опасному путешествию. Действительно, конденсация воздуха требовала таких усилий, что она отнимала у меня все время. Спать почти не приходилось. Я чувствовал мучительную усталость и совсем обессилел. Человеческая природа не способна долго выдерживать такие страдания. Во время короткой ночи мимо меня опять пронесся метеор. Они появлялись все чаще, и это не на шутку стало пугать меня.

17 апреля. – Сегодня – достопамятный день моего путешествия. Если припомните, тринадцатого апреля угловая величина Земли достигала всего двадцати пяти градусов. Четырнадцатого она очень уменьшилась, пятнадцатого – еще значительно, а шестнадцатого, ложась спать, я отметил угол в $7^{\circ}15'$. Каково же было мое удивление, когда, пробудившись после непродолжительного и тревожного сна утром семнадцатого апреля, я увидел, что поверхность, находившаяся подо мною, вопреки всяким ожиданиям увеличилась и достигла не менее тридцати девяти градусов в угловом диаметре! Меня точно обухом по голове ударили. Безграничный ужас и изумление, которых не передашь никакими словами, поразили, ошеломили, раздавили меня. Колени мои дрожали, зубы выбивали дробь, волосы поднялись дыбом. «Значит, шар лопнул! – мелькнуло в моем уме. – Шар лопнул! Я падаю! Падаю с невероятной, неслыханной быстротой! Судя по тому громадному расстоянию, которое я уже пролетел, не пройдет и десяти минут, как я ударюсь о землю и разобьюсь вдребезги». Наконец ко мне вернулась способность мыслить; я опомнился, подумал, стал сомневаться. Нет, это невероятно. Я не мог так быстро спуститься. К тому же хотя я, очевидно, приближался к расстилавшейся подо мною поверхности, но вовсе не так быстро, как мне показалось в первую минуту. Эти размышления несколько успокоили меня, и я наконец понял, в чем дело. Если бы испуг и удивление не отбили у меня всякую способность соображать, я бы с первого взгляда заметил, что поверхность, находившаяся подо мною, ничуть не похожа на поверхность моей матери-земли. Последняя находилась теперь наверху, над моей головой, а внизу, под моими ногами, была Луна во всем ее великолепии.

Мои растерянность и изумление при таком необычайном повороте дела непонятны мне самому. Этот *bouleversement*⁹ не только был совершенно естествен и необходим, но я заранее знал, что он неизбежно свершится, когда шар достигнет того пункта, где земное притяжение уступит место притяжению Луны, – или, точнее, тяготение шара к Земле будет слабее его тяготения к Луне. Правда, я только что проснулся и не успел еще прийти в себя, когда заметил нечто поразительное; и хотя я мог это предвидеть, но в настоящую минуту вовсе не ожидал. Поворот шара, очевидно, произошел спокойно и постепенно, и если бы я даже проснулся вовремя, то вряд ли мог бы заметить его по какому-нибудь изменению внутри камеры.

Нужно ли говорить, что, опомнившись после первого изумления и ужаса и ясно сообразив, в чем дело, я с жадностью принялся рассматривать поверхность Луны. Она расстилалась подо мною, точно карта, и, хотя находилась еще очень далеко, все ее очертания выступали вполне ясно. Полное отсутствие океанов, морей, даже озер и рек – словом, каких бы то ни было водных бассейнов – сразу бросилось мне в глаза, как самая поразительная черта лунной

⁹ Переворот (*фр.*).

орографии. При всем том, как это ни странно, я мог различить обширные равнины, очевидно, наносного характера, хотя большая часть поверхности была усеяна бесчисленными вулканами конической формы, которые казались скорее насыпными, чем естественными возвышениями. Самый большой не превосходил трех – трех с четвертью миль. Впрочем, карта вулканической области Флегрейских полей даст вашим превосходительствам лучшее представление об этом ландшафте, чем какое-либо описание. Большая часть вулканов действовала, и я мог судить о бешеной силе извержений по обилию принятых мной за метеоры камней, все чаще пролетавших с громом мимо шара.

18 апреля. – Объем Луны очень увеличился, и быстрота моего спуска стала сильно тревожить меня. Я уже говорил, что мысль о существовании лунной атмосферы, плотность которой соответствует массе Луны, играла немаловажную роль в моих соображениях о путешествии на Луну, – несмотря на существование противоположных теорий и широко распространенное убеждение, что на нашем спутнике нет никакой атмосферы. Но, независимо от вышеупомянутых соображений относительно кометы Энке и зодиакального света, мое мнение в значительной мере опиралось на некоторые наблюдения г-на Шредера из Лилиенталя. Он наблюдал Луну на третий день после новолуния, вскоре после заката солнца, когда темная часть диска была еще незрима, и продолжал следить за ней до тех пор, пока она не стала видима. Оба рога казались удлинненными, и их тонкие бледные кончики были слабо освещены лучами заходящего солнца. Вскоре по наступлении ночи темный диск осветился. Я объясняю это удлинение рогов преломлением солнечных лучей в лунной атмосфере. Высоту этой атмосферы (которая может преломлять достаточное количество лучей, чтобы вызвать в темной части диска свечение вдвое более сильное, чем свет, отражаемый от Земли, когда Луна отстоит на 32° от точки новолуния) я принимал в 1356 парижских футов; следовательно, максимальную высоту преломления солнечного луча – в 5376 футов. Подтверждение моих взглядов я нашел в восьмидесяти втором томе «Философских трудов», где говорится об оккультации спутников Юпитера, причем третий спутник стал неясным за одну или две секунды до исчезновения, а четвертый исчез на некотором расстоянии от диска¹⁰.

От степени сопротивления, или, вернее сказать, от поддержки, которую эта предполагаемая атмосфера могла оказать моему шару, зависел всецело и благополучный исход путешествия. Если же я ошибся, то мог ожидать только конца своим приключениям: мне предстояло разлететься на атомы, ударившись о скалистую поверхность Луны. Судя по всему, я имел полное основание опасаться подобного конца. Расстояние до Луны было сравнительно ничтожно, а обновление воздуха в камере требовало такой же работы, и я не замечал никаких признаков увеличения плотности атмосферы.

19 апреля. – Сегодня утром, около девяти часов, когда поверхность Луны угрожающе приблизилась и мои опасения дошли до крайних пределов, насос конденсатора, к великой моей радости, показал наконец очевидные признаки изменения плотности атмосферы.

К десяти часам плотность эта значительно возросла. К одиннадцати аппарат требовал лишь ничтожных усилий, а в двенадцать я решился – после некоторого колебания – отвинтить вертлюг; и, убедившись, что ничего вредного для меня не последовало, я развязал гуттаперчевый мешок и отогнул его края. Как следовало ожидать, непосредственным результатом этого слишком поспешного и рискованного опыта была жесточайшая головная боль и удушье.

¹⁰ Гевелий пишет, что, наблюдая Луну на той же высоте, в том же расстоянии от Земли и в тот же превосходный телескоп, при совершенно ясном небе, даже когда были видимы звезды шестой и седьмой величины, он, однако, не всегда находил ее одинаково ясной. Наблюдения показывают, что причину этого нельзя искать в нашей атмосфере, в свойствах телескопа или в глазу наблюдателя, а что она коренится в чем-то (в атмосфере?), присущем самой Луне. Кассини часто замечал, что при оккультации Сатурна, Юпитера, неподвижных звезд их круглая форма сменяется овальной в момент сближения с лунным диском, хотя при многих оккультациях этого изменения формы не замечается. Отсюда можно заключить, что по крайней мере иногда лучи планет и звезд встречают лунную атмосферу и преломляются в ней. – *Прим. авт.*

Но, так как они не угрожали моей жизни, я решился претерпеть их в надежде на облегчение при спуске в более плотные слои атмосферы. Спуск, однако, происходил с невероятной быстротой, и хотя мои расчеты на существование лунной атмосферы, плотность которой соответствовала бы массе спутника, по-видимому, оправдывались, но я, очевидно, ошибся, полагая, что она способна поддержать корзину со всем грузом. А между тем этого надо было ожидать, так как сила тяготения и, следовательно, вес предметов также соответствуют массе небесного тела. Но головокружительная быстрота моего спуска ясно доказывала, что этого на самом деле не было. Почему?.. Единственное объяснение я вижу в тех геологических возмущениях, на которые указывал выше. Во всяком случае, я находился теперь совсем близко от Луны и стремился к ней со страшною быстротой. Итак, не теряя ни минуты, я выбросил за борт балласт, бочки с водой, конденсирующий прибор, каучуковую камеру и, наконец, все, что только было в корзине. Ничто не помогало. Я по-прежнему падал с ужасающей быстротой и находился самое большее в полумиле от поверхности. Оставалось последнее средство: выбросив шюртук и сапоги, я отрезал даже корзину, повис на веревках и, успев только заметить, что вся площадь подо мной, насколько видит глаз, усеяна крошечными домиками, очутился в центре странного, фантастического города, среди толпы уродцев, которые, не говоря ни слова, не издавая ни звука, словно какое-то сборище идиотов, потешно скалили зубы и, подбоченившись, разглядывали меня и мой шар. Я с презрением отвернулся от них, посмотрел, подняв глаза, на Землю, так недавно – и, может быть, навсегда – покинутую мною, и увидел ее в виде большого медного щита, около двух градусов в диаметре, тускло блестевшего высоко над моей головой, причем один край его, в форме серпа, горел ослепительным золотым блеском. Никаких признаков воды или суши не было видно, – я заметил только тусклые, изменчивые пятна да тропический и экваториальный пояс.

Так, с позволения ваших превосходительств, после жестоких страданий, неслыханных опасностей, невероятных приключений, на девятнадцатый день моего отбытия из Роттердама я благополучно завершил свое путешествие, – без сомнения, самое необычайное и самое замечательное из всех путешествий, когда-либо совершенных, предпринятых или задуманных жителями Земли. Но рассказ о моих приключениях еще далеко не кончен. Ваши превосходительства сами понимают, что, проведя около пяти лет на спутнике Земли, представляющем глубокий интерес не только в силу своих особенностей, но и вследствие своей тесной связи с миром, обитаемым людьми, я мог бы сообщить Астрономическому обществу немало сведений, гораздо более интересных, чем описание моего путешествия, как бы оно ни было удивительно само по себе. И я действительно могу открыть многое и сделал бы это с величайшим удовольствием. Я мог бы рассказать вам о климате Луны и о странных колебаниях температуры – невыносимом тропическом зное, который сменяется почти полярным холодом, – о постоянном перемещении влаги вследствие испарения, точно в вакууме, из пунктов, находящихся ближе к солнцу, в пункты, наиболее удаленные от него; об изменчивом поясе текущих вод; о здешнем населении – его обычаях, нравах, политических учреждениях; об особой физической организации здешних обитателей, об их уродливости, отсутствии ушей – придатков, совершенно излишних в этой своеобразной атмосфере; об их способе общения, заменяющем здесь дар слова, которого лишены лунные жители; о таинственной связи между каждым обитателем Луны и определенным обитателем Земли (подобная же связь существует между орбитами планеты и спутника), благодаря чему жизнь и участь населения одного мира теснейшим образом переплетаются с жизнью и участью населения другого; а главное – главное, ваши превосходительства, – об ужасных и отвратительных тайнах, существующих на той стороне Луны, которая, вследствие удивительного совпадения периодов вращения спутника вокруг собственной оси и обращения его вокруг Земли, недоступна и, к счастью, никогда не станет доступной для земных телескопов. Все это – и многое, многое еще – я охотно изложил бы в подобном сообщении. Но скажу прямо, я требую за это вознаграждения. Я жажду вернуться к родному

очагу, к семье. И в награду за дальнейшие сообщения – принимая во внимание, какой свет я могу пролить на многие отрасли физического и метафизического знания, – я желал бы выхлопотать себе через посредство вашего почтенного общества прощения за убийство трех кредиторов при моем отбытии из Роттердама. Такова цель настоящего письма. Податель его – один из жителей Луны, которому я растолковал все, что нужно, – к услугам ваших превосходительств; он сообщит мне о прощении, буде его можно получить.

Примите и проч. Ваших превосходительств покорнейший слуга
Ганс Пфааль».

Окончив чтение этого необычайного послания, профессор Рубадуб, говорят, даже трубку выронил, так он был изумлен, а мингер Супербус ван Ундердук снял очки, протер их, положил в карман и от удивления настолько забыл о собственном достоинстве, что, стоя на одной ноге, завертелся волчком. Разумеется, прощение будет выхлопотано, – об этом и толковать нечего. Так по крайней мере поклялся в самых энергических выражениях профессор Рубадуб. То же подумал и блистательный ван Ундердук, когда, опомнившись наконец, взял под руку своего ученого собрата и направился домой, чтобы обсудить на досуге, как лучше взяться за дело. Однако, дойдя до двери бургомистрова дома, профессор решился заметить, что в прощении едва ли окажется нужда, так как посланец с Луны исчез, без сомнения испугавшись суровой и дикой наружности роттердамских граждан, – а кто, кроме обитателя Луны, отважится на такое путешествие? Бургомистр признал справедливость этого замечания, чем дело и кончилось. Но не кончились толки и сплетни. Письмо было напечатано и вызвало немало обсуждений и споров. Нашлись умники, не побоявшиеся выставить самих себя в смешном виде, утверждая, будто все это происшествие сплошная выдумка. Но эти господа называют выдумкой все, что превосходит их понимание. Я, со своей стороны, решительно не вижу, на чем они основывают такое обвинение.

Вот их доказательства.

Во-первых: в городе Роттердаме есть такие-то шутники (имярек), которые имеют зуб против таких-то бургомистров и астрономов (имярек).

Во-вторых: некий уродливый карлик-фокусник с начисто отрезанными за какую-то проделку ушами недавно исчез из соседнего города Брюгге и не возвращался в течение нескольких дней.

В-третьих: газеты, которые всюду были наклеплены на шар, – это голландские газеты и, стало быть, выходили не на Луне. Они были очень, очень грязные, и типограф Глюк готов поклясться, что не кто иной, как он сам, печатал их в Роттердаме.

В-четвертых: пьяницу Ганса Пфааля с тремя бездельниками, будто бы его кредиторами, видели два-три дня тому назад в кабаке, в предместье Роттердама: они были при деньгах и только что вернулись из поездки за море.

И наконец: согласно общепринятому (по крайней мере ему бы следовало быть общепринятым) мнению, Астрономическое общество в городе Роттердаме, подобно всем другим обществам во всех других частях света, оставляя в стороне общества и астрономов вообще, ничуть не лучше, не выше, не умнее, чем ему следует быть.

* * *

Примечание. Строго говоря, наш беглый очерк представляет очень мало общего со знаменитым «Рассказом о Луне» мистера Локка, но, так как оба рассказа являются выдумкой (хотя один написан в шутливом, другой в сугубо серьезном тоне), оба трактуют об одном и том же предмете, мало того – в обоих правдоподобие достигается с помощью чисто научных подробностей, – то автор «Ганса Пфааля» считает необходимым заметить *в целях самозащиты*,

что его *jeu d'esprit*¹¹ была напечатана в «Саутерн Литерери Мессенджер» за три недели до появления рассказа мистера Локка в «Нью-Йорк Сан». Тем не менее некоторые нью-йоркские газеты, усмотрев между обоими рассказами сходство, которого, быть может, на деле не существует, решили, что они принадлежат перу одного и того же автора.

Так как читателей, обманутых «Рассказом о Луне», гораздо больше, чем сознавшихся в своем легковерии, то мы считаем нелишним остановиться на этом рассказе, – то есть отметить те его особенности, которые должны бы были устранить возможность подобного легковерия, ибо выдают истинный характер этого произведения. В самом деле, несмотря на богатую фантазию и бесспорное остроумие автора, произведение его сильно хромает в смысле убедительности, ибо он недостаточно уделяет внимания фактам и аналогиям. Если публика могла хоть на минуту поверить ему, то это лишь доказывает ее глубокое невежество по части астрономии.

Расстояние Луны от Земли в круглых цифрах составляет 240 000 миль. Чтобы узнать, насколько сократится это расстояние благодаря телескопу, нужно разделить его на цифру, выражающую степень увеличительной силы последнего. Телескоп, фигурирующий в рассказе мистера Локка, увеличивает в 42 000 раз. Разделив на это число 240 000 (расстояние до Луны), получаем пять и пять седьмых мили. На таком расстоянии невозможно рассмотреть каких-либо животных, а тем более всякие мелочи, о которых упоминается в рассказе. У мистера Локка сэр Джон Гершель видит на Луне цветы (из семейства маковых и др.), даже различает форму и цвет глаз маленьких птичек. А незадолго перед тем сам автор говорит, что в его телескоп нельзя разглядеть предметы менее восемнадцати дюймов в диаметре. Но и это преувеличение: для таких предметов требуется гораздо более сильный объектив. Заметим мимоходом, что гигантский телескоп мистера Локка изготовлен в мастерской гг. Гартлей и Грант в Домбартоне; но гг. Гартлей и Грант прекратили свою деятельность за много лет до появления этой сказки.

На странице 13 отдельного издания, упоминая о «волосяной вуали» на глазах буйвола, автор говорит: «Проницательный ум доктора Гершеля усмотрел в этой вуали созданную самим провидением защиту глаз животного от резких перемен света и мрака, которым периодически подвергаются все обитатели Луны, живущие на стороне, обращенной к нам». Однако подобное замечание отнюдь не свидетельствует о «проницательности» доктора. У обитателей, о которых идет речь, никогда не бывает темноты, следовательно, не подвергаются они и упомянутым резким световым переменам. В отсутствие солнца они получают свет от Земли, равный по яркости свету четырнадцати лун.

Топография Луны у мистера Локка, даже там, где он старается согласовать ее с картой Луны Блента, расходится не только с нею и со всеми остальными картами, но и с собой. Относительно стран света у него царит жестокая путаница; автор, по-видимому, не знает, что на лунной карте они расположены иначе, чем на Земле: восток приходится налево, и т. д.

Мистер Локк, быть может, сбивый с толку неясными названиями «Mare Nubium», «Mare Tranquillitatis», «Mare Fecunditatis»¹², которыми прежние астрономы окрестили темные лунные пятна, очень обстоятельно описывает океаны и другие обширные водные бассейны на Луне; между тем отсутствие подобных бассейнов доказано. Граница между светом и тенью на убывающем или растущем серпе, пересекая темные пятна, образует ломаную зубчатую линию; будь эти пятна морями, она, очевидно, была бы ровною.

Описание крыльев человека – летучей мыши на с. 21 – буквально копия с описания крыльев летающих островитян Питера Уилкинса. Уже одно это обстоятельство должно было бы возбудить сомнение.

¹¹ Игра ума (*фр.*).

¹² Облачное Море, Море Спокойствия, Море Изобилия (*лат.*).

На с. 23 читаем: «Какое чудовищное влияние должен был оказывать наш земной шар, в тринадцать раз превосходящий размеры своего спутника, на природу последнего, когда, зарождаясь в недрах времени, оба были игрищем химических сил!» Это отлично сказано, конечно; но ни один астроном не сделал бы подобного замечания, особенно в научном журнале, так как Земля не в тринадцать, а в сорок девять раз больше Луны. То же можно сказать и о заключительных страницах, где ученый корреспондент распространяется насчет некоторых недавних открытий, сделанных в связи с Сатурном, и дает подробное ученическое описание этой планеты – и это для «Эдинбургского научного журнала»!

Есть одно обстоятельство, которое особенно выдает автора. Допустим, что изобретен телескоп, с помощью которого можно увидеть животных на Луне, – что прежде всего бросится в глаза наблюдателю, находящемуся на Земле? Без сомнения, не форма, не рост, не другие особенности, а странное *положение* лунных жителей. Ему покажется, что они ходят вверх ногами, как мухи на потолке. Невымысленный наблюдатель едва ли удержался бы от восклицания при виде столь странного положения живых существ (хотя бы и предвидел его заранее), наблюдатель вымысленный не только не отметил этого обстоятельства, но говорит о форме всего тела, хотя мог видеть только форму головы!

Заметим в заключение, что величина и особенно сила человека – летучей мыши (например, способность летать в разреженной атмосфере, если, впрочем, на Луне есть какая-нибудь атмосфера) противоречат всякой вероятности. Вряд ли нужно прибавлять, что соображения, приписываемые Брюстеру и Гершелю в начале статьи – «передача искусственного света с помощью предмета, находящегося в фокусе поля зрения», и проч., и проч., – относятся к разряду высказываний, именуемых в просторечии чепухой.

Существует предел для оптического изучения звезд, – предел, о котором достаточно упомянуть, чтобы понять его значение. Если бы все зависело от силы оптических стекол, человеческая изобретательность, несомненно, справилась бы в конце концов с этой задачей, и у нас были бы чечевицы каких угодно размеров. К несчастью, по мере возрастания увеличительной силы стекол вследствие рассеяния лучей уменьшается сила света, испускаемого объектом. Этой беде мы не в силах помочь, так как видим объект только благодаря исходящему от него свету – его собственному или отраженному. «Искусственный» свет, о котором толкует мистер Л., мог бы иметь значение лишь в том случае, если бы был направлен не на «объект, находящийся в поле зрения», а на действительный изучаемый объект – то есть *на Луну*. Нетрудно вычислить, что если свет, исходящий от небесного тела, достигнет такой степени рассеяния, при которой окажется не сильнее естественного света всей массы звезд в ясную, безлунную ночь, то это тело станет недоступным для изучения.

Телескоп лорда Росса, недавно построенный в Англии, имеет зеркало с отражающей поверхностью в 4071 квадратный дюйм; телескоп Гершеля – только в 1811 дюймов. Труба телескопа лорда Росса имеет 6 футов в диаметре, толщина ее на краях – $5\frac{1}{2}$, в центре – 5 дюймов. Фокусное расстояние – 50 футов. Вес – 3 тонны.

Недавно мне случилось прочесть любопытную и довольно остроумную книжку, на титуле которой значится:

«L'Homme dans la lune, ou le Voyage Chimérique fait au Monde de la Lune, nouvellement decouvert par Dominique Gonzales, Advanturier Espagnol, autremét dit le Courier volant. Mis en notre langue par J. B. D. A. Paris, chez François Piot, pres la Fontaine de Saint Benoist. Et chez J. Goignard, au premier pilier de la grand' salle du Palais, proche les Consultations, MDCXLVIII», p. 176¹³.

¹³ «Человек на Луне, или же Химерическое путешествие в лунный мир, незадолго перед тем открытый Домиником Гон-

Автор говорит, что перевел книжку с английского подлинника некоего мистера Д'Ависсона (Дэвидсон?), хотя выражается крайне неопределенно.

«J'en ai eu, – говорит он, – l'original de Monsieur D'Avisson, médecin des mieux versez qui soient aujourd'hui dans la connoissance des Belles Lettes, et sur tout de la Philosophie Naturelle. Je lui ai cette obligation entre les autres, de m'avoir non seulement mis en main ce Livre en anglois, mais encore le Manuscript du Sieur Thomas D'Anan, gentilhomme Ecossois, recommandable pour sa vertu, sur la version duquel j'advoue j'ay tiré le plan de la mienne»¹⁴.

После разнообразных приключений во вкусе Жиля Блаза, рассказ о которых занимает первые тридцать страниц, автор попадает на остров Святой Елены, где возмущившийся экипаж оставляет его вдвоем со служителем-негром. Ради успешнейшего добывания пищи они разошлись и поселились в разных концах острова. Потом им вздумалось общаться друг с другом с помощью птиц, дрессированных на манер почтовых голубей. Мало-помалу птицы выучились переносить тяжести, вес которых постепенно увеличивался. Наконец автору пришлось в голову воспользоваться соединенными силами целой стаи птиц и подняться самому. Для этого он построил машину, которая подробно описана и изображена в книжке. На рисунке мы видим сеньора Гонзалеса, в кружевных брыжах и огромном парике, верхом на каком-то подобии метлы, уносимого стаей диких лебедей (*ganzas*), к хвостам которых привязана машина.

Главное приключение сеньора обусловлено очень важным фактом, о котором читатель узнает только в конце книги. Дело в том, что пернатые, которых он приручил, оказываются уроженцами не острова Святой Елены, а Луны. С незапамятных времен они ежегодно прилетают на Землю; но в надлежащее время, конечно, возвращаются обратно. Таким образом, автор, рассчитывавший на непродолжительное путешествие, поднимается прямо в небо и в самое короткое время достигает Луны. Тут он находит среди прочих курьезов – население, которое вполне счастливо. Обитатели Луны не знают законов; умирают без страданий; ростом они от десяти до тридцати футов; живут пять тысяч лет. У них есть император, по имени Ирдонозур; они могут подпрыгивать на высоту шестидесяти футов и, выйдя таким образом из сферы притяжения, летать с помощью особых крыльев.

Не могу не привести здесь образчик философствований автора.

«Теперь я расскажу вам, – говорит сеньор Гонзалес, – о природе тех мест, где я находился. Облака скопились под моими ногами, то есть между мною и землей. Что касается звезд, то они все время казались одинаковыми, так как здесь вовсе не было ночи; они не блестели, а слабо мерцали, точно на рассвете. Немногие из них были видимы и казались вдесятеро больше (приблизительно), чем когда смотришь на них с Земли. Луна, которой недоставало двух дней до полнолуния, казалась громадной величины.

Не следует забывать, что я видел звезды только с той стороны Земли, которая обращена к Луне, и что чем ближе они были к ней, тем казались больше. Замечу также, что и в тихую погоду, и в бурю я всегда находился *между Землей и Луной*. Это подтверждалось двумя обстоятельствами: во-первых, лебеди поднимались все время по прямой линии; во-вторых, всякий раз, когда они останавливались отдохнуть, мы все же двигались вокруг земного шара. Я разделяю мнение Коперника, согласно которому Земля вращается с востока на запад не вокруг

залесом, испанским авантюристом, иначе именуемым Летучим Вестником. Переведено на наш язык Ж. Б. Д. А. Продается в Париже, у Франсуа Пио, возле фонтана Сен-Бенуа, и у Ж. Гуаньяра, возле первой колонны в большой дворцовой зале, близ Консультаций, MDCXLVIII», с. 176.

¹⁴ «Оригинал я получил от господина Д'Ависсона, врача, одного из наиболее сведущих в области изящной словесности, особливо же в натурфилософии. Среди прочего я обязан ему тем, что он не только дал мне сию англискую книгу, но также и рукопись господина Томаса Д'Анана, шотландского дворянина, за свою доблесть достойного хвалы, из коей я, должен признаться, заимствовал и план собственного моего повествования».

полюсов Равноденствия, называемых в просторечии полюсами мира, а вокруг полюсов зодиака. Об этом вопросе я намерен поговорить более подробно впоследствии, когда освежу в памяти сведения из астрологии, которую изучал в молодые годы, будучи в Саламанке, но с тех пор успел позабыть».

Несмотря на грубые ошибки, книжка заслуживает внимания как простодушный образчик наивных астрономических понятий того времени. Между прочим, автор полагает, что «притягательная сила» Земли действует лишь на незначительное расстояние от ее поверхности, и вот почему он «все же двигался вокруг земного шара» и т. д.

Есть и другие «путешествия на Луну», но их уровень не выше этой книжки. Книга Бержерака не заслуживает внимания. В третьем томе «Американ куотерли ревью» помещен обстоятельный критический разбор одного из таких «путешествий», – разбор, свидетельствующий столько же о нелепости книжки, сколько и о глубоком невежестве критика. Я не помню заглавия, но способ путешествия еще глупее, чем полет нашего приятеля сеньора Гонзалеса. Путешественник случайно находит в земле неведомый металл, притяжение которого к Луне сильнее, чем к Земле, делает из него ящик и улетает на Луну. «Бегство Томаса О’Рука» – не лишенный остроумия *jeu d’esprit*; книжка эта переведена на немецкий язык. Герой рассказа Томас – лесничий одного ирландского пэра, эксцентричные выходки которого послужили поводом для рассказа, – улетает на спине орла с Хангри-Хилл, высокой горы, расположенной в конце Бантри-Бей.

Все упомянутые брошюры преследуют сатирическую цель; тема – сравнение наших обычаев с обычаями жителей Луны. Ни в одной из них не сделано попытки придать с помощью научных подробностей правдоподобный характер самому путешествию. Авторы делают вид, что они люди вполне осведомленные в области астрономии. Своеобразие «Ганса Пфааля» заключается в попытке достигнуть этого правдоподобия, пользуясь научными принципами в той мере, в какой это допускает фантастический характер самой темы.

Лигейя

И в этом – воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог – не что как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей.
Джозеф Гленвилл

И ради спасения души я не в силах был бы вспомнить, как, когда и даже где впервые увидел я леди Лигейю. С тех пор прошло много долгих лет, а память моя ослабела от страданий. Но, быть может, я не могу ныне припомнить все это потому, что характер моей возлюбленной, ее редкая ученость, необычная, но исполненная безмятежности красота и завораживающая и покоряющая выразительность ее негромкой музыкальной речи проникали в мое сердце лишь постепенно и совсем незаметно. И все же представляется мне, что я познакомился с ней и чаще всего видел ее в некоем большом, старинном, ветшающем городе вблизи Рейна. Ее семья... о, конечно, она мне о ней говорила... И несомненно, что род ее восходит к глубокой древности. Лигейя! Лигейя! Предаваясь занятиям, которые более всего способны притуплять впечатления от внешнего мира, лишь этим сладостным словом – Лигейя! – воскрешаю я перед своим внутренним взором образ той, кого уже нет. И сейчас, пока я пишу, мне внезапно вспомнилось, что я никогда не знал родового имени той, что была моим другом и невестой, той, что стала участницей моих занятий и в конце концов – возлюбленной моею супругой. Почему я о нем не спрашивал? Был ли тому причиной шуточный запрет моей Лигейи? Или так испытывалась сила моей нежности? Или то был мой собственный каприз – исступленно романтическое жертвоприношение на алтарь самого страстного обожания? Даже сам этот факт припоминается мне лишь смутно, так удивительно ли, если из моей памяти изгладились все обстоятельства, его породившие и ему сопутствовавшие? И поистине, если дух, именуемый Романтической Страстью, если бледная Аштофет идолопоклонников египтян и правда, как гласят их предания, витает на туманных крыльях над роковыми свадьбами, то, бесспорно, она председательствовала и на моем брачном пиру.

Но одно дорогое сердцу воспоминание память моя хранит незыблемо. Это облик Лигейи. Она была высокой и тонкой, а в последние свои дни на земле – даже исхудалой. Тщетно старался бы я описать величие и спокойную непринужденность ее осанки или непостижимую легкость и грациозность ее походки. Она приходила и уходила подобно тени. Я замечал ее присутствие в моем уединенном кабинете, только услышав милую музыку ее тихого прелестного голоса, только ощутив на своем плече прикосновение ее беломраморной руки. Ни одна дева не могла сравниться с ней красотой лица. Это было сияние опиумных грез – эфирное, возвышающее дух видение, даже более фантазмагорически божественное, чем фантазии, которые реяли над дремлющими душами дочерей Делоса. И тем не менее в ее чертах не было той строгой правильности, которую нас ложно учат почитать в классических произведениях языческих ваятелей. «Всякая пленительная красота, – утверждает Бэкон, лорд Веруламский, говоря о формах и родах красоты, – всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность». И все же хотя я видел, что черты Лигейи лишены классической правильности, хотя я замечал, что ее прелесть поистине «пленительна», и чувствовал, что она исполнена «странности», тем не менее тщетны были мои усилия уловить, в чем заключалась эта неправильность, и понять, что порождает во мне ощущение «странного». Я разглядывал абрис высокого бледного лба – он был безупречен (о, как холодно это слово в применении к величию столь божественному!), разглядывал его кожу, соперничающую оттенком с драгоценнейшей слоновой костью, его строгую и спокойную соразмерность, легкие выпуклости на висках и, наконец, вороново-черные, блестящие, пыш-

ные, завитые самой природой кудри, которые позволяли постигнуть всю силу гомеровского эпитета «гиацинтовые»! Я смотрел на тонко очерченный нос – такое совершенство я видел только на изящных монетах древней Иудеи. Та же нежащая взгляд роскошная безупречность, тот же чуть заметный намек на орлиный изгиб, те же гармонично вырезанные ноздри, свидетельствующие о свободном духе. Я взирал на сладостный рот. Он поистине был торжествующим средоточием всего небесного – великолепный изгиб короткой верхней губы, тихая истома нижней, игра ямочек, выразительность красок и зубы, отражавшие с блеском почти пугающим каждый луч священного света, когда они открывались ему в безмятежной и ясной, но также и самой ликующе-ослепительной из улыбок. Я изучал лепку ее подбородка и находил в нем мягкую ширину, нежность и величие, полноту и одухотворенность греков – те контуры, которые бог Аполлон лишь во сне показал Клеомену, сыну афинянина. И тогда я обращал взор на огромные глаза Лигейи.

Для глаз мы не находим образцов в античной древности. И может быть, именно в глазах моей возлюбленной заключался секрет, о котором говорил лорд Веруламский. Они, мнится мне, несравненно превосходили величиной обычные человеческие глаза. Они были больше даже самых больших газельих глаз женщин племени, обитающего в долине Нурджахад. И все же только по временам, только в минуты глубочайшего душевного волнения эта особенность Лигейи переставала быть лишь чуть заметной. И в такие мгновенья ее красота (быть может, повинно в этом было одно мое разгоряченное воображение) представлялась красотой существа небесного или не землей рожденного – красотой сказочной гурии турок. Цвет ее очей был блистающе-черным, их осеняли эбеновые ресницы необычной длины. Брови, изогнутые чуть-чуть неправильно, были того же оттенка. Однако «странность», которую я замечал в этих глазах, заключалась не в их величине, и не в цвете, и не в блеске – ее следовало искать в их выражении. Ах, это слово, лишенное смысла! За обширность его пустого звучания мы прячем свою неосведомленность во всем, что касается области духа. Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Целую ночь накануне Иванова дня я тщетно искал разгадки его смысла! Чем было то нечто, более глубокое, нежели колодец Демокрита, которое таилось в зрачках моей возлюбленной? Что там скрывалось? Меня томило страстное желание узнать это. О, глаза Лигейи! Эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они превратились для меня в звезды-близнецы, рожденные Ледой, и я стал преданнейшим из их астрологов.

Среди многих непонятных аномалий науки о человеческом разуме нет другой столь жгуче волнующей, чем факт, насколько мне известно, не привлечший внимания ни одной школы и заключающийся в том, что, пытаясь воскресить в памяти нечто давно забытое, мы часто словно бы уже готовы вот-вот вспомнить, но в конце концов так ничего и не вспоминаем. И точно так же, вглядываясь в глаза Лигейи, я постоянно чувствовал, что сейчас постигну смысл их выражения, чувствовал, что уже постигаю его, – и не мог постигнуть, и он вновь ускользал от меня. И (странная, о, самая странная из тайн!) в самых обычных предметах вселенной я обнаруживал круг подобий этому выражению. Этим я хочу сказать, что с той поры, как красота Лигейи проникла в мой дух и воцарилась там, словно в святилище, многие сущности материального мира начали будить во мне то же чувство, которое постоянно дарили мне и внутри и вокруг меня ее огромные сияющие очи. И все же мне не было дано определить это чувство, или проанализировать его, или хотя бы спокойно обозреть. Я распознавал его, повторяю, когда рассматривал быстро растущую лозу или созерцал ночную бабочку, мотылька, куколку, струи стремительного ручья. Я ощущал его в океане и в падении метеора. Я ощущал его во взорах людей, достигших необычного возраста. И были две-три звезды (особенно одна – звезда шестой величины, двойная и переменная, та, что соседствует с самой большой звездой Лиры), которые, когда я глядел на них в телескоп, рождали во мне то же чувство. Его несли в себе некоторые звуки струнных инструментов и нередко – строки книг. Среди бесчисленных других примеров мне ясно вспоминается абзац в трактате Джозефа Гленвилла, неизменно

(быть может, лишь своей причудливостью – как знать?) пробуждавший во мне это чувство: «И в этом – воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог – не что как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Долгие годы и запоздалые размышления помогли мне даже обнаружить отдаленную связь между этими строками в труде английского моралиста и некоторыми чертами характера Лигейи. Напряженность ее мысли, поступков и речи, возможно, была следствием или, во всяком случае, свидетельством той колоссальной силы воли, которая за весь долгий срок нашей близости не выдала себя никакими другими, более непосредственными признаками. Из всех женщин, известных мне в мире, она – внешне спокойная, неизменно безмятежная Лигейя – с наибольшим исступлением отдавалась в жертву диким коршунам беспощадной страсти. И эту страсть у меня не было никаких средств измерить и постичь, кроме чудодейственного расширения ее глаз, которые и восхищали и пугали меня, кроме почти колдовской мелодичности, модулированности, четкости и безмятежности ее тихого голоса, кроме яростной силы (вдвойне поражающей из-за контраста с ее манерой говорить) тех неистовых слов, которые она так часто произносила.

Я упомянул про ученость Лигейи – поистине гигантскую, какой мне не доводилось встречать у других женщин. В древних языках она была на редкость осведомлена, и все наречия современной Европы – во всяком случае, известные мне самому – она тоже знала безупречно. Да и довелось ли мне хотя бы единый раз обнаружить, чтобы Лигейя чего-то не знала – пусть даже речь шла о самых прославленных (возможно, лишь из-за своей запутанности) темах, на которых покоится хваленая эрудиция Академии? И каким странным путем, с каким жгучим волнением только теперь я распознал эту черту характера моей жены! Я сказал, что такой учености я не встречал у других женщин, но где найдется мужчина, который бы успешно пересек все широчайшие пределы нравственных, физических и математических наук? Тогда я не постигал того, что столь ясно вижу теперь, – что знания Лигейи были колоссальны, необъятны, и все же я настолько сознавал ее бесконечное превосходство, что с детской доверчивостью подчинился ее руководству, погружаясь в хаотический мир метафизики, исследованиям которого я предавался в первые годы нашего брака. С каким бесконечным торжеством, с каким ликующим восторгом, с какой высокой надеждой распознавал я, когда Лигейя склонялась надо мной во время моих занятий (без просьбы, почти незаметно), ту восхитительную перспективу, которая медленно разворачивалась передо мной, ту длинную, чудесную, нехоженую тропу, которая обещала привести меня к цели – к мудрости слишком божественной и драгоценной, чтобы не быть запретной.

Так сколь же мучительно было мое горе, когда несколько лет спустя я увидел, как мои окрыленные надежды безвозвратно улетели прочь! Без Лигейи я был лишь ребенком, ошупью бродящим во тьме. Ее присутствие, даже просто ее чтение вслух, озаряло ясным светом многие тайны трансцендентной философии, в которую мы были погружены. Лишенные животворного блеска ее глаз, буквы, сияющие и золотые, становились более тусклыми, чем свинец Сатурна. А теперь эти глаза все реже и реже освещали страницы, которые я штудировал. Лигейя заболела. Непостижимые глаза ее сверкали слишком ослепительными лучами; бледные пальцы обрели прозрачно-восковой оттенок могилы, а голубые жилки на высоком лбу властно вздувались и опадали от самого легкого волнения. Я видел, что она должна умереть, – и дух мой вел отчаянную борьбу с угрюмым Азраилом. К моему изумлению, жена моя боролась с ним еще более страстно. Многие особенности ее сдержанной натуры внушили мне мысль, что для нее смерть будет лишена ужаса, – но это было не так. Слова бессильны передать, как яростно сопротивлялась она беспощадной Тени. Я стонал от муки, наблюдая это надрывающее душу зрелище. Я утешал бы, я убеждал бы, но перед силой ее необоримого стремления к жизни, к жизни –

только к жизни! – и утешения и уговоры были равно нелепы. И все же до самого последнего мгновения, среди самых яростных конвульсий ее неукротимого духа она не утрачивала внешнего безмятежного спокойствия. Ее голос стал еще нежнее, еще тише – и все же мне не хотелось бы касаться безумного смысла этих спокойно произносимых слов. Моя голова туманилась и шла кругом, пока я заворуженно внимал мелодии, недоступной простым смертным, внимал предположениям и надеждам, которых смертный род прежде не знал никогда.

О, я не сомневался в том, что она меня любила, и мог бы без труда догадаться, что в подобной груди способна властвовать лишь любовь особенная. Однако только с приходом смерти постиг я всю силу ее страсти. Долгими часами, удерживая мою руку в своей, она исповедовала мне тайны сердца, чья более чем пылкая преданность достигала степени идолопоклонства. Чем заслужил я блаженство подобных признаний? Чем заслужил я мучение разлуки с моей возлюбленной в тот самый час, когда услышал их? Но об этом я не в силах говорить подробнее. Скажу лишь, что в этом более чем женском растворении в любви – в любви, увы, незаслуженной, отданной недостойному – я наконец распознал природу неутолимой жажды Лигейи, ее необузданного стремления к жизни, которая теперь столь стремительно отлетала от нее. И вот этой-то необузданной жажды, этого алчного стремления к жизни – только к жизни! – я не могу описать, ибо нет слов, в которые его можно было бы воплотить.

В ночь своей смерти, в глухую полночь, она властным мановением подозвала меня и потребовала, чтобы я прочел ей стихи, сложенные ею лишь несколько дней назад. Я повиновался. Вот эти стихи:

Спектакль-гала! Чу, срок настал,
Печалью лет повит.
Под пеленою покрывал
Сокрыв снега ланит,
Сияя белизной одежд,
Сонм ангелов следит
За пьесой страха и надежд,
И музыка сфер гремит.

По своему подобию бог
Актеров сотворил.
Игрушки страха и тревог
Напрасно тратят пыл:
Придут, исчезнут, вновь придут,
Покорствуя веленью сил,
Что сеют горе и беду
Движеньем кондоровых крыл.

Пестра та драма и глупа,
Но ей забвенья нет:
По кругу мечется толпа
За призраком вослед,
И он назад приводит всех
Тропой скорбей и бед.
Безумие, и черный грех,
И ужас – ее сюжет.

Но вдруг актеров хоровод

Испуганно затих.
К ним тварь багряная ползет
И пожирает их.
Ползет, свою являя власть,
Жертв не щадя своих.
Кровавая зияет пасть —
Владыка судьб людских.

Всюду тьма, им всем гибель — удел.
Под бури пронзительный вой
На груды трепещущих тел
Пал занавес — мрак гробовой.
Покрывала откинувши, рек
Бледных ангелов плачущий строй,
Что трагедия шла — «Человек»
И был Червь Победитель — герой.

— О Бог! — пронзительно вскрикнула Лигейя, вскакивая и судорожно простирая руки к небесам, когда я прочел последние строки. — О Бог! О Божественный Отец! Должно ли всегда и неизменно быть так? Ужели этот победитель ни разу не будет побежден сам? Или мы не часть Тебя и не едины в Тебе? Кто... кто постигает тайны воли во всей мощи ее? Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей!

Затем, словно совсем изнемогшая от этого порыва, она уронила белые руки и скорбно вернулась на одр смерти. И когда она испускала последний вздох, вместе с ним с ее губ срывался чуть слышный шепот. Я почти коснулся их ухом и вновь различил все те же слова Гленвилла: «Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Она умерла, и я, сокрушенный печалью во прах, уже не мог более выносить унылого уединения моего жилища в туманном ветшающем городе на Рейне. Я не испытывал недостатка в том, что свет зовет богатством. Лигейя принесла мне в приданое больше — о, много, много больше, — чем обычно выпадает на долю смертных. И вот после нескольких месяцев тягостных и бесцельных странствий я купил и сделал пригодным для обитания старинное аббатство, которое не назову, в одной из наиболее глухих и безлюдных областей прекрасной Англии. Угрюмое величие здания, дикий вид окрестностей, множество связанных с ними грустных стародавних преданий весьма гармонировали с той безысходной тоской, которая загнала меня в этот отдаленный и никем не посещаемый уголок страны. Однако, хотя наружные стены аббатства, увитые, точно руины, вековым плющом, были сохранены в прежнем своем виде, внутренние его помещения я с ребяческой непоследовательностью, а может быть, и в безотчетной надежде утешить терзавшее меня горе отделал с более чем королевским великолепием. Ибо еще в детские годы я приобрел вкус к этим суетным пустякам, и теперь он вернулся ко мне, точно знание второго детства, в которое ввергла меня скорбь. Увы, я понимаю, сколько зарождающегося безумия можно было бы обнаружить в пышно прихотливых драпировках, в сумрачных изваяниях Египта, в невиданных карнизах и мебели, в сумасшедших узорах парчовых ковров с золотой бахромой! Тогда уже я стал рабом опиума, покорно подчинившись его узам, а потому все мои труды и приказы расцветчивались оттенками дурманных грез. Но к чему останавливаться на этих глупостях! Я буду говорить лишь о том вовеки проклятом покое, куда в минуту помрачения рассудка я привел от алтаря как юную мою супругу, как преемницу забытой Лигейи белокурую и синеглазую леди Ровену Тремейн из рода Тревейньон.

Каждая архитектурная особенность, каждое украшение этого брачного покоя – все они стоят сейчас перед моими глазами. Где были души надменных родителей и близких новобрачной, когда в жажде золота они допустили, чтобы невинная девушка переступила порог комнаты, вот так украшенной? Я сказал, что помню эту комнату во всех подробностях – я, который столь непростительно забывчив теперь, когда речь идет о предметах величайшей важности; а ведь в этой фантастической хаотичности не было никакой системы, никакого порядка, которые могли бы помочь памяти. Комната эта, расположенная в одной из высоких башен похожего на замок аббатства, была пятиугольной и очень обширной. Всю южную сторону пятиугольника занимало окно – гигантское цельное венецианское стекло свинцового оттенка, так что лучи и солнца и луны, проходя сквозь него, придавали предметам внутри мертвенный оттенок. Над этим колоссальным окном по решетке на массивной стене вились старые виноградные лозы. Необыкновенно высокий сводчатый потолок из темного дуба был покрыт искусной резьбой – самыми химерическими и гротескными образчиками полуготического, полудруидического стиля. Из самого центра этого мрачного свода на единой золотой цепи с длинными звеньями свисала огромная курильница из того же металла сарацинской чеканки, с многочисленными отверстиями, столь хитро расположенными, что из них непрерывно ползли и ползли, словно наделенные змеиной жизнью, струи разноцветного огня.

Там и сям стояли оттоманки и золотые восточные канделябры, а кроме них – ложе, брачное ложе индийской работы из резного черного дерева, низкое, с погребально-пышным балдахин. В каждом из пяти углов комнаты вертикально стояли черные гранитные саркофаги из царских гробниц Луксора, с их древних крышек смотрели изваяния незапамятной древности. Но наиболее фантазмагоричны были, увы, драпировки, которые, ниспадая тяжелыми волнами, сверху донизу закрывали необыкновенно – даже непропорционально – высокие стены комнаты. Это были массивные гобелены, сотканые из того же материала, что и ковер на полу, что и покрывала на оттоманках и кровати из черного дерева, что и ее балдахин, что и драгоценные свитки занавеса, частично затенявшего окно. Материалом этим была бесценная золотая парча. Через неравномерные промежутки в нее были вотканы угольно-черные арабески около фута в поперечнике. Однако арабески эти представлялись просто узорами только при взгляде из одной точки. При помощи способа, теперь широко применяемого и прослеживаемого до первых веков античности, им была придана способность изменяться. Тому, кто стоял на пороге, они представлялись просто диковинными уродствами; но стоило вступить в комнату, как арабески эти начинали складываться в фигуры, и посетитель с каждым новым шагом обнаруживал, что его окружает бесконечная процессия ужасных образов, измышленных суеверными норманнами или возникших в сонных видениях грешного монаха. Жуткое впечатление это еще усиливалось благодаря тому, что позади драпировок был искусственно создан непрерывный и сильный ток воздуха, который, заставляя фигуры шевелиться, наделял их отвратительным и пугающим подобием жизни.

Вот в каких апартаментах, вот в каком свадебном покое провел я с леди Тремейн не осененные благословением часы первого месяца нашего брака – и провел их, не испытывая особой душевной тревоги. Я не мог не заметить, что моя жена страшится моего яростного угрюмого нрава, что она избегает меня и не питает ко мне любви. Но это скорее было мне приятно. Я ненавидел ее исполненной отвращения ненавистью, какая свойственна более демонам, нежели человеку. Память моя возвращалась (о, с каким мучительным сожалением!) к Лигейе – возлюбленной, царственной, прекрасной, погребенной. Я наслаждался воспоминаниями о ее чистоте, о ее мудрости, о ее высокой, ее эфирной натуре, о ее страстной, ее боготворящей любви. Теперь мой дух поистине и щедро пылал пламенем даже еще более неистовым, чем огонь, снедавший ее. В возбуждении моих опиумных грез (ибо я постоянно пребывал в оковах этого дурмана) я громко звал ее по имени как в ночном безмолвии, так и в уединении лесных лужаек среди бела дня, словно необузданной тоской, глубочайшей страстью, всепожирающим

жаром томления по усопшей я мог вернуть ее на пути, покинутые ею – ужели, ужели навеки? – здесь на земле.

В начале второго месяца нашего брака леди Ровену поразил внезапный недуг, и выздоровление ее было трудным и медленным. Терзавшая ее лихорадка лишала больную ночного покоя, и в тревожном полусне она говорила о звуках и движениях, которыми была наполнена комната в башне, но я полагал, что они порождались ее расстроенным воображением или, быть может, фантазмагорическим воздействием самой комнаты. В конце концов ей стало легче, а потом она и совсем выздоровела. Однако минул лишь краткий срок, и новый, еще более жестокий недуг опять бросил ее на ложе страданий; здоровье ее никогда не было крепким и теперь совсем расстроилось. С этого времени ее болезни приобретали все более грозный характер, и еще более грозным было их постоянное возобновление – все знания и все старания ее врачей оказывались тщетными. Усиление хронического недуга, который, по-видимому, укоренился так глубоко, что уже не поддавался излечению человеческими средствами, по моим почти невольным наблюдениям сочеталось с равным усилением нервного расстройства, сопровождавшегося, казалось бы, беспричинной пугливостью. Она все чаще и все упорнее твердила о звуках – о чуть слышных звуках – и о странном движении среди драпировок, про которые упоминала прежде.

Как-то ночью на исходе сентября больная с большей, чем обычно, настойчивостью заговорила со мной об этом тягостном предмете. Она только что очнулась от беспокойной дремоты, и я с тревогой, к которой примешивался смутный ужас, следил за сменой выражений на ее исхудалом лице. Я сидел возле ее ложа черного дерева на одной из индийских оттоманок. Ровена приподнялась и тихим исступленным шепотом говорила о звуках, которые слышала в это мгновение – но которых я не слышал, о движении, которое она видела в это мгновение – но которого я не улавливал. За драпировками проносился сильный ветер, и я решил убедить Ровену (хотя, признаюсь, сам этому верил не вполне), что это почти беззвучное дыхание и эти чуть заметные изменения фигур на стенах были лишь естественными следствиями постоянного воздушного тока за драпировками. Однако смертельная бледность, разлившаяся по ее лицу, сказала мне, что мои усилия успокоить ее останутся тщетными. Казалось, она лишается чувств, а возле не было никого из слуг. Я вспомнил, где стоял графин с легким вином, которое предписал ей врач, и поспешно пошел за ним в дальний конец комнаты. Но когда я вступил в круг света, отбрасываемого курильницей, мое внимание было привлечено двумя поразительными обстоятельствами. Я ощутил, как мимо, коснувшись меня, скользнуло нечто невидимое, но материальное, и заметил на золотом ковре в самом центре яркого сияющего круга, отбрасываемого курильницей, некую тень – прозрачное, туманное ангельское подобие: тень, какую могло бы отбросить призрачное видение. Но я был вне себя от возбуждения, вызванного особенно большой дозой опиума, и, сочтя эти явления не стоящими внимания, ничего не сказал о них Ровене. Отыскав графин, я вернулся к ней, налил бокал вина и поднес его к ее губам. Однако она уже немного оправилась и взяла бокал сама, а я опустил на ближайшую оттоманку, не сводя глаз с больной. И вот тогда-то я совершенно ясно расслышал легкие шаги по ковру возле ее ложа, а мгновение спустя, когда Ровена готовилась отпить вино, я увидел – или мне пригрезилось, что я увидел, – как в бокал, словно из невидимого сокрытого в воздухе источника, упали три-четыре большие блистающие капли рубинового цвета. Но их видел только я, а не Ровена. Она без колебаний выпила вино, я же ничего не сказал ей о случившемся, считая, что все это могло быть лишь игрой воображения, воспламененного страхами больной, опиумом и поздним часом.

И все же я не могу скрыть от себя, что сразу же после падения рубиновых капель состояние Ровены быстро ухудшилось, так что на третью ночь руки прислужниц уже приготовили ее для погребения, а на четвертую я сидел наедине с ее укутанным в саван телом в той же фантазмагорической комнате, куда она вступила моей молодой женой. Перед моими глазами мель-

кали безумные образы, порожденные опиумом. Я устремлял тревожный взор на саркофаги в углах, на меняющиеся фигуры драпировок, на извивающиеся многоцветные огни курильницы в вышине. Вспоминая подробности недавней ночи, я посмотрел на то освещенное курильницей место, где я увидел тогда неясные очертания тени. Но на этот раз ее там не было, и, вздохнув свободнее, я обратил взгляд на бледную и неподвижную фигуру на ложе. И вдруг на меня нахлынули тысячи воспоминаний о Лигейе – и с бешенством разлившейся реки в мое сердце вновь вернулась та невыразимая мука, с которой я глядел на Лигейю, когда такой же саван окутывал ее. Шли ночные часы, а я, исполненный горчайших дум о единственной бесконечно любимой, все еще смотрел на тело Ровены.

В полночь – а может быть, позже или раньше, ибо я не замечал времени, – рыдающий вздох, тихий, но ясно различимый, заставил меня очнуться. Мне почудилось, что он донесся с ложа черного дерева, с ложа смерти. Охваченный суеверным ужасом, я прислушался, но звук не повторился. Напрягая зрение, я старался разглядеть, не шевельнулся ли труп, но он был неподвижен. И все же я не мог обмануться. Я, бесспорно, слышал этот звук, каким бы тихим он ни был, и душа моя пробудилась. С упорным вниманием я не спускал глаз с умершей. Прошло много минут, прежде чем случилось еще что-то, пролившее свет на тайну. Но наконец стало очевидным, что очень слабая, еле заметная краска разлилась по щекам и по крохотным спавшимся сосудам век. Пораженный неизъяснимым ужасом и благоговением, для описания которого в языке смертных нет достаточно сильных слов, я ощутил, что сердце мое перестает биться, а члены каменеют. Однако чувство долга в конце концов заставило меня сбросить парализующее оцепенение. Нельзя было долее сомневаться, что мы излишне поторопились с приготовлениями к похоронам, что Ровена еще жива. Нужно было немедленно принять необходимые меры, но башня находилась далеко в стороне от той части аббатства, где жили слуги и куда они все удалились на ночь, – чтобы позвать их на помощь, я должен был бы надолго покинуть комнату, а этого я сделать не решался. И в одиночестве я прилагал все усилия, чтобы удержать дух, еще не покинувший тело. Но вскоре стало ясно, что они оказались тщетными, – краска исчезла со щек и век, сменившись более чем мраморной белизной, губы еще больше запали и растянулись в жуткой гримасе смерти, отвратительный липкий холод быстро распространился по телу, и его тотчас сковало обычное окостенение. Я с дрожью упал на оттоманку, с которой был столь страшным образом поднят, и вновь предался страстным грезам о Лигейе.

Так прошел час, а затем (могло ли это быть?) я вторично услышал неясный звук, донесшийся со стороны ложа. Я прислушался, вне себя от ужаса. Звук раздался снова – это был вздох. Кинувшись к трупу, я увидел, – да-да, увидел! – как затрепетали его губы. Мгновение спустя они полуоткрылись, обнажив блестящую полоску жемчужных зубов. Изумление боролось теперь в моей груди со всепоглощающим страхом, который до этого властвовал в ней один. Я чувствовал, что зрение мое тускнеет, рассудок мутится, и только ценой отчаянного усилия я наконец смог принудить себя к исполнению того, чего требовал от меня долг. К этому времени ее лоб, щеки и горло слегка порозовели и все тело потеплело. Я ощутил даже слабое биение сердца. Она была жива! И с удвоенным жаром я начал приводить ее в чувство. Я растирал и смачивал спиртом ее виски и ладони, я пустил в ход все средства, какие подсказывали мне опыт и немалое знакомство с медицинскими трактатами. Но втуне! Внезапно розовый цвет исчез, сердце перестало биться, губы вновь сложились в гримасу смерти, и миг спустя тело обрело льдистый холод, свинцовую бледность, жесткое окостенение, угловатость очертаний и все прочие жуткие особенности, которые обретает труп, много дней пролежавший в гробнице.

И вновь я предался грезам о Лигейе, и вновь (удивительно ли, что я содрогаюсь, когда пишу эти строки?), вновь с ложа черного дерева до меня донесся рыдающий вздох. Но к чему подробно пересказывать невыразимые ужасы этой ночи? К чему медлить и описывать, как опять и опять почти до первых серых лучей рассвета повторялась эта жуткая драма оживления, прерываясь новым жестоким и, казалось бы, победным возвращением смерти? Как каждая

агония являла черты борьбы с каким-то невидимым врагом и как каждая такая борьба завершалась неопишимо страшным преображением трупа? Нет, я сразу перейду к завершению.

Эта жуткая ночь уже почти миновала, когда та, что была мертва, еще раз шевельнулась – и теперь с большей энергией, чем прежде, хотя и восставая из окостенения, более леденящего душу своей полной мертвенностью, нежели все предыдущие. Я уже давно отказался от всяких попыток помочь ей и, бессильно застыв, сидел на оттоманке, охваченный бурей чувств, из которых невыносимый ужас был, пожалуй, наименее мучительным и жгучим. Труп, повторяю, пошевелился, и на этот раз гораздо энергичней, чем раньше. Краски жизни с особой силой вспыхнули на лице, члены расслабились, и, если бы не сомкнутые веки и не погребальные покровы, которые все еще сообщали телу могильную безжизненность, я мог бы вообразить, что Ровене удалось наконец сбросить оковы смерти. Но если даже в тот миг я не мог вполне принять эту мысль, то для сомнений уже не было места, когда, восстав с ложа, неверными шагами, не открывая глаз, словно в дурмане тяжелого сна, фигура, завернутая в саван, выступила на самую середину комнаты!

Я не вздрогнул, я не шелохнулся, ибо в моем мозгу пронесся вихрь невыносимых подозрений, рожденных обликом, осанкой, походкой этой фигуры, парализуя меня, превращая меня в камень. Я не шелохнулся и только глядел на это видение. Мысли мои были расстроены, были ввергнуты в неизъяснимое смятение. Неужели передо мной действительно стояла живая Ровена? Неужели это Ровена – белокурая и синеглазая леди Ровена Тремейн из рода Тревейньон? Почему, почему усомнился я в этом? Рот стягивала тугая повязка, но разве он не мог быть ртом очнувшейся леди Тремейн? А щеки – на них цвели розы, как в дни ее беззаботной юности... да, конечно, это могли быть щеки ожившей леди Тремейн. А подбородок с ямочками, говорящими о здоровье, почему он не мог быть ее подбородком? Но в таком случае за дни своей болезни она стала выше ростом? Какое невыразимое безумие овладело мной при этой мысли. Одним прыжком я очутился у ее ног. Она отпрянула от моего прикосновения, окутывавшая ее голову жуткая погребальная пелена упала, и гулявший по комнате ветер заиграл длинными спутанными прядями пышных волос – они были чернее вороновых крыл полуночи. И тогда медленно раскрылись глаза стоявшей передо мной фигуры.

– В этом... – пронзительно вскрикнул я, – да, в этом я не могу ошибиться! Это они – огромные, и черные, и пылающие глаза моей потерянной возлюбленной... леди... ЛЕДИ ЛИГЕЙИ!

Падение дома Эшеров

*Son cœur est un luth suspendu,
Sitôt qu'on le touche il résonne¹⁵.*

De Béranger

Весь этот день – тусклый, беззвучный осенний день – я ехал верхом по необычно пустынной местности, над которой низко нависли свинцовые тучи, и наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю: невыносимая, потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным поэтическим чувством, которое вызывают в человеке даже самые ужасные и мрачные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу – на одинокий дом и угрюмые стены, на зияющие глазницы выбитых окон, чахлую осоку, седые стволы дряхлых деревьев – с чувством гнетущим, которое могу сравнить только с пробуждением курильщика опиума, горьким возвращением к обыденной жизни, когда завеса спадает с глаз и презренная действительность обнажается во всем своем безобразии.

То была леденящая, ноющая, сосущая боль сердца, безотрадная пустота в мыслях; и воображение тщетно силилось настроить душу на более возвышенный лад. «Что же именно, – подумал я, – что именно так удручает меня, когда я смотрю на дом Эшера?» Я не мог разрешить этой тайны; не мог разобраться в тумане нахлынувших на меня смутных впечатлений. Пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим выводом, что известные сочетания весьма естественных предметов могут влиять на нас особым образом, но исследовать это влияние – задача непосильная для нашего ума. «Возможно, – думал я, – что простая перестановка, иное расположение мелочей, подробностей картины изменят или уничтожат столь гнетущее впечатление». Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над черным, мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась перед самой усадьбой, и содрогнулся еще сильнее, увидев чахлую осоку, седые стволы деревьев, пустые глазницы окон, отраженные в воде.

Тем не менее я предполагал провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Эшер, был моим другом детства; но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо – очень странное, настойчивое, требовавшее личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Эшер описывал свои жестокие физические страдания, свое душевное расстройство, он хотел непременно повидать меня, своего лучшего, даже единственного, друга, общество которого облегчит его мучения. Тон письма, его очевидная сердечность заставили меня принять приглашение без всяких колебаний; но, хотя я и последовал ему, оно все же казалось мне странным.

Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал своего друга очень мало. Крайняя замкнутость вошла у него в привычку. Мне было известно, однако, что он принадлежит к очень древнему роду, представители которого с незапамятных времен отличались особенно тонкой восприимчивостью, – она сказывалась и в различных произведениях искусства, создававшихся Эшерами в течение многих веков и всегда носивших отпечаток восторженности, а позднее – в щедрой, но отнюдь не навязчивой благотворительности и в страстной любви к музыке – скорее к ее трудностям, чем к признанным и легкодоступным красотам. Мне известен также примечательный факт, что этот род при всей своей древности не породил ни одной сколько-нибудь живучей боковой ветви; иными словами, что все его члены, за весьма немногими и случайными отклонениями, были связаны родством по прямой линии. Когда я размыш-

¹⁵ Его сердце – висящая лютя, Коснешься – и она зазвучит. *Беранже*

лял об удивительном соответствии между характером поместья и характером его владельцев и о возможном влиянии первого на второй в течение многих столетий, мне часто приходило в голову: не это ли отсутствие боковой линии и неизменная передача от отца к сыну имени и поместья так соединили эти последние, что первоначальное название усадьбы местные крестьяне заменили странным и двусмысленным прозвищем: Дом Эшеров, под которым они разумели как самих владельцев, так и их родовое поместье.

Я сказал, что моя довольно ребяческая попытка приободриться, – заглянув в пруд, – только углубила первые впечатления. Не сомневаюсь, что мысль о каком-то суеверном страхе людей перед этим домом – почему не употребить мне слово «суеверный»? – усилила его воздействие. Таков – я давно убедился в этом – парадоксальный закон всех душевных движений, в основе которых лежит чувство ужаса. Быть может, только этим и объясняется странная фантазия, появившаяся у меня, когда я перевел взгляд с отражения на усадьбу, – фантазия просто смешная, так что и упоминать бы о ней не стоило, если бы она не свидетельствовала об осязавших меня ощущениях. Мне почудилось, будто и дом и вся усадьба окружены совершенно особенной, только им присущей, тяжелой атмосферой, несколько не похожей на окружающий вольный воздух, словно над гниющими деревьями, ветхой стеной, молчаливым прудом стояли какие-то загадочные испарения, смутные, едва уловимые, но удушливые.

Страхнув с души все эти образы, которые, конечно, были бредом, я стал внимательно рассматривать самый дом. Прежде всего бросалась в глаза его глубокая древность. Века обесцветили его, наложив свою неизгладимую печать. Мох и плесень почти сплошь покрывали дом, свешиваясь косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза признаки тления. Ни одна часть дома не обвалилась, – тем более поражало несоответствие общей, уцелевшей во всех своих частях постройки с обветшалостью раскрошившихся кирпичей. Такой вид имеет иногда изъеденная годами старинная деревянная резьба в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает свежий воздух. Впрочем, кроме этих признаков ветхости, ничто не говорило о грозящем разрушении. И только очень внимательный наблюдатель заметил бы легкую, чуть видную трещину, которая, начинаясь под крышей на фасаде здания, шла по стене зигзагами, исчезая потом в мутных водах пруда.

Рассмотрев все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел через готический подъезд в вестибюль. Отсюда лакей, неслышно ступая, провел меня по темным извилистым коридорам в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я уже говорил. Все это – резные потолки, темные обои, полы, окрашенные в черную краску, фантастические воинские доспехи, звеневшие, когда я проходил мимо, – было мне знакомо с детства; но, хотя я сразу узнал эти комнаты, столь знакомые предметы возбуждали во мне совершенно незнакомые ощущения. На одной из лестниц я встретил домашнего врача Эшеров. Лицо его, как мне показалось, выражало смесь смущения и низкой хитрости. Он, видимо, спешил и только кивнул мне мимоходом. Наконец лакей распахнул дверь и доложил о моем приезде.

Я очутился в высокой и просторной комнате. Длинные, узкие стрельчатые окна находились так высоко от черного дубового пола, что были совершенно недоступны. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решетки, так что наиболее крупные предметы обрисовывались довольно ясно; но глаз тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты и выемки сводчатого расписного потолка. Стены были задрапированы темными тканями. Роскошная старинная мебель была неудобной и ветхой. Разбросанные всюду книги и музыкальные инструменты не оживляли комнату. Самый воздух, казалось, был напоен тоскою. Угрюмая, бесконечная, безнадежная – висела она надо всем, пронизывала все.

Когда я вошел, Эшер встал с дивана, на котором лежал вытянувшись, и приветствовал меня с радостью, которая показалась мне несколько преувеличенной и искусственной, как у светских людей, которым наскучило все на свете. Но, взглянув на него, я убедился в его пол-

ной искренности. Мы сели; с минуту я глядел на него со смешанным чувством тревоги и жалости. Без сомнения, никогда еще человек не изменялся так страшно в такой короткий срок, как Родерик Эшер! Я едва мог признать в этом изможденном создании друга моих детских игр. А между тем наружность его была примечательна. Мертвенно-бледная кожа; огромные, светлые, с невыразимым влажным блеском глаза; губы тонкие, бледные, но необычного рисунка; изящный еврейский нос с чересчур широкими ноздрями; маленький изящный подбородок, однако лишенный энергических очертаний (признак душевной слабости); мягкие волосы, тонкие-тонкие, как паутинки; лоб, расширяющийся над висками и необычайно высокий, – такую наружность трудно забыть. Своеобразие этого лица и присущее ему выражение теперь обозначились еще отчетливее, – но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я даже усомнился, точно ли это мой старый друг. Больше всего поразили, даже испугали меня призрачная бледность его лица и влажный блеск глаз. Шелковистая паутина волос, очевидно, давно уже не знавших ножниц, обрамляла лицо легкими, словно парящими прядями и тоже придавала ему какой-то нездешний вид.

В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то судорожность, порывистость – следствие, как я вскоре убедился, постоянной, но беспомощной и тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь в этом роде не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых чертах его характера, проявлявшихся в детстве, да и по всему, что я знал о его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также мгновенно изменялся: дрожь нерешительности (когда жизненные силы, по-видимому, совершенно иссякали) сменялась стремительной уверенностью тона – отрывистого, резкого, не терпевшего возражений, и той грубоватой, веской и размеренной манерой говорить, с точными певучими модуляциями, какая бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиума в минуты сильнейшего возбуждения.

Так говорил он о цели моего посещения, о своем горячем желании видеть меня, об утешении, которое доставил ему мой приезд. Затем, как будто не совсем охотно, перешел к своей болезни. Это был, по его словам, наследственный недуг, против которого, кажется, нет лекарства... «Нервное расстройство, – прибавил он поспешно, – которое, без сомнения, очень скоро пройдет само собою». Оно выражалось в различных болезненных ощущениях. Некоторые из них заинтересовали и поразили меня, хотя, быть может, действовали и его манера рассказывать и выразительность его слов. Он жестоко страдал от чрезмерной остроты чувств, мог принимать только самую безвкусную пищу, носить только определенные ткани, не терпел запаха цветов; самый слабый свет раздражал его глаза, и лишь немногие звуки – только струнных инструментов – не внушали ему ужаса.

Оказалось также, что на него находят приступы беспричинного неестественного страха.

– Я погибну, – говорил он, – я *должен* погибнуть от этого жалкого безумия. Так, именно так, а не иначе, суждено мне умереть. Я страшусь будущих событий; и не их самих, а их последствий. Дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях, оттого что они могут повлиять на это невыносимое возбуждение. Боюсь не самой опасности, а ее неизбежного следствия – ужаса. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со зловещим призраком – *страхом*!

Я подметил также в его неясных и двусмысленных намеках другую любопытную болезненную черту: его преследовали суеверные представления, связанные с жилищем, в котором он провел безвыездно столько лет; мысль о каком-то влиянии, сущность которого он излагал так неясно, что смысл его слов было бы трудно передать. Судя по ним, некоторые особенности его родовой усадьбы в течение многих лет мало-помалу приобрели странную власть над его душой: предметы чисто физического порядка – серые стены и башенки, темный пруд, в котором они отражались, – влияли на духовную сторону его существования.

Впрочем, он допускал, хоть и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, возможно, является следствием гораздо более естественной и осязаемой причины: тяжелой и долгой болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, бывшей в течение многих лет его другом и товарищем, – единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире.

– После ее смерти, – продолжал он с горечью, которая произвела на меня неизгладимое впечатление, – я, хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Эшеров.

Когда он говорил это, леди Магдалина (так звали его сестру) медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия. Я взглянул на нее с удивлением, к которому примешивался какой-то страх. Почему? Я не могу этого объяснить. Пока я следил за ней глазами, меня охватило странное оцепенение. Наконец она исчезла за дверью. Я невольно, украдкой взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками, и я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые потекли горячие слезы.

Болезнь леди Магдалины давно уже приводила в недоумение врачей. Постоянная апатия, истощение, частые, хоть и кратковременные, явления каталептического характера – таковы были главные признаки этого странного недуга. Впрочем, леди Магдалина упорно боролась с ним и ни за что не хотела лечь в постель; но вечером, после моего приезда, все же слегла (брат с невыразимым волнением сообщил мне об этом ночью), – так что я, по всей вероятности, видел ее живой в последний раз.

В течение нескольких дней ни Эшер, ни я не упоминали ее имени. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали, читали, или я слушал, как во сне, его бурные импровизации на гитаре. Но чем теснее и ближе мы сходились, чем глубже я проникал в душу его, тем очевиднее становилась мне безнадежность всяких попыток развеять этот скорбный дух, который словно отбрасывал мрачную тень на все явления духовного и вещественного мира.

Я вечно буду хранить в своей памяти многие торжественные часы, проведенные наедине с хозяином Дома Эшеров. Но вряд ли мне удастся дать точное представление о тех занятиях, участником которых он делал меня. Беспредельная отвлеченность фантазии Эшера озаряла все каким-то фосфорическим светом. Его мрачные музыкальные импровизации навсегда врезались мне в душу. Между прочим, мне мучительно запомнилась странная осложненная вариация на бурный мотив последнего вальса Вебера. Произведения живописи, создаваемые его изысканным воображением и с каждым мазком переходившие во что-то все более смутное, заставляли меня трепетать тем сильнее, что я не понимал причин подобного впечатления, – эти картины (хоть я как будто вижу их перед собой) решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. Если смертный когда-либо живописал *мысль*, то этим смертным был Родерик Эшер. На меня по крайней мере при обстоятельствах, в которых я находился, чисто абстрактные концепции, которые этот ипохондрик набрасывал на полотно, производили впечатление невыносимо зловещее, какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определенные фантазии Фюзели.

Одно из фантазмагорических созданий моего друга, не столь отвлеченное, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о нем лишь слабое представление. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного сводчатого коридора, или туннеля, с низкими стенами, гладкими и белыми, без всяких впадин и выступов. Некоторые детали рисунка ясно показывали, что туннель лежал на огромной глубине под землею. Он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода, и не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света, – а между тем поток ярких лучей струился в него, все затопляя зловещим и неестественно ярким светом.

Я уже упоминал о болезненном состоянии слуховых нервов моего друга, вследствие чего он не выносил никакой музыки, кроме звучаний некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость ограничивать себя малым диапазоном гитары в значительной мере и обуславливала фантастический характер его импровизаций. Но *легкость*, с какой он сочинял свои *impromptus*¹⁶, не объясняется только этим обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий (он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями) были, по всей вероятности, результатом самоуглубления и сосредоточения, которые, как я уже говорил, наблюдаются у людей в минуты чрезвычайного искусственного возбуждения. Мне легко запомнились слова одной из его песен. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие истолкования, которое я дал ее таинственному смыслу: мне казалось, будто Эшер вполне ясно сознает – и притом впервые, – что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Вот слова этой песни, – она звучала примерно так:

I

Там, где ангелы порхали
По траве родных долин,
Озарял блистаньем дали
Гордый замок-исполин.
Мысли царственным чертогом
Он сиял
И в своем величье строгом
Серафимов удивлял.

II

Флагов пестрые ветрила,
Золотое полотно!
(Как давно все это было,
Давным-давно.)
И ветерок, овевяв замок,
Прозрачнокрыл,
Вдоль крепких стен, вдоль древних самых,
Благоуханье проносил.

III

И сквозь окна видел путник
Озаренный тронный зал,
В нем играющий на лютнях
Рой видений танцевал.
Длился танец хороводный,
Полыхал чертог златой,
Светел был багрянородный
Властелин долины той!

IV

Рубинов и алмазов блески
Украсили портал;
Влетали мира отголоски

¹⁶ Экспромты, импровизации (*фр.*).

В просторный тронный зал, —
Чертоги оглашая разом,
Ликуя и хваля,
Они воспеть спешили разум
И совесть короля.

V
Но духи зла в одеждах черных
Прошли по землям гордеца.
(Пришла пора рыданий скорбных
У опустевшего дворца!)
Росла здесь слава поминутно,
Ну а теперь найдем
Быль, вспоминаемую смутно,
Поросшую быльем.

VI
И странник у багровых окон
Застынет нынче, поражен:
Там, в зале гулком и высоком,
Фантомов пляс, нестройный звон, —
Виденья замок покидают,
Обитель черных бед;
Зловещий смех во тьме витает,
Улыбок больше нет...¹⁷

* * *

Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мысль, которую я отмечаю не вследствие ее новизны (многие высказывали то же самое)¹⁸, а потому, что он защищал ее с необычайным упорством. Сущность этой мысли сводится к тому, что растительные организмы также обладают чувствительностью. Но его расстроенное воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенес ее до некоторой степени в неорганический мир. Не знаю, в каких словах выразить глубину и силу его утверждений. Все было связано (как я уже намекал) с серыми камнями обиталища его предков. Причины своей чувствительности он усматривал в самом размещении камней – в порядке их сочетания, в изобилии мхов, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг пруда, а главное – в неподвижности и неизменности их сочетаний и также в том, что они повторялись в спокойных водах пруда. «Доказательством этой чувствительности, – прибавил он, – может служить особая атмосфера (я невольно вздрогнул при этих словах), постепенно стеснившаяся вокруг стен и над прудом». О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние, которое в течение столетий оказывала усадьба на характер его предков и *на него* самого, – ибо именно это влияние сделало его таким, каков он есть. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я воздержусь от них.

¹⁷ Перевод А. Голембы.

¹⁸ Ватсон, д-р Персиваль, Спалланцани и в особенности епископ Ландафф. – См. «Очерки по химии», т. V. – *Прим. авт.*

Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, соответствовали – да иначе и быть не могло – фантастическому складу его ума. Мы вместе читали «Вер-вер» и «Монастырь» Грессэ, «Бельфегора» Макиавелли, «Небо и Ад» Сведенборга, «Подземное путешествие Николая Климма» Гольберга, «Хиромантию» Роберта Флюда, Жана Д'Эндажинэ и Делашамбра; «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город Солнца» Кампанеллы. Нашим любимым чтением было маленькое, в восьмушку листа, издание «Directorium Inquisitorium»¹⁹, доминиканца Эймерика де Жиронна; а над некоторыми отрывками из Помпония Мелы о древних африканских божествах гор, лесов и полей Эшер раздумывал часами. Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкую и любопытную книгу – готическое инкварто, служебник одной забытой церкви – «Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae»²⁰.

И я невольно вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и о ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых и что он намерен поместить ее тело на две недели (до окончательного погребения) в одном из многочисленных склепов, находящихся под центральной частью дома. Я не считал возможным оспаривать это странное решение ввиду тех причин, которые мне привел мой друг. По словам Эшера, его побуждали к этому необычайный характер болезни и некоторые весьма странные и назойливые вопросы врачей, а также отдаленность и заброшенность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло возражать против этой, во всяком случае, безобидной предосторожности.

По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели (его так долго не открывали, что наши факелы чуть мерцали в спертom воздухе и мы не могли осмотреть его обстоятельно), оказался тесным и сырым подвалом, куда свет не проникал, так как подвал помещался на большой глубине в той части здания, где находилась моя спальня. В Средние века он, без сомнения, служил тюрьмой, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстро воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты листами меди. Массивная дверь была обшита железом. Она тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный скрежещущий звук.

Опустив носилки с телом в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба, которая еще не была завинчена, и взглянули в лицо покойницы. И тут поразительное сходство брата и сестры впервые бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что они были близнецами и что между ними всегда существовала какая-то таинственная связь. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила следы, характерные для каталептических заболеваний: слабую краску на груди и на щеках и ту особую томную улыбку, которая так ужасает нас, когда человек уже мертв. Мы завинтили крышку, заперли железную дверь и со стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее.

Прошло несколько горестных дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменились. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бесцельно бродил из комнаты в комнату торопливыми, нетвердыми шагами. Землистое лицо его приняло, если только это было возможно, еще более зловещий оттенок; но блеск его глаз померк; голос окончательно утратил резкость, которая иногда в нем появлялась, – теперь в нем неизменно слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось,

¹⁹ Руководство по инквизиции (лат.).

²⁰ «Бдения по усопшим, как их поет хор майнцской церкви» (лат.).

что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам безумия, замечая, что он по целым часам сидит недвижно, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало меня, даже передавалось мне. Я чувствовал, как влияние его диких, но заразных грез сказывается и на мне – медленно, но неотразимо.

Когда на седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины я лег на кровать, эти ощущения нахлынули на меня с особенной силой. Проходил час за часом, но сон бежал от моих глаз. Я старался стряхнуть с себя это болезненное состояние, старался убедить себя, что оно всецело – или по крайней мере в значительной степени – вызвано мрачной обстановкой комнаты: темными ветхими драпировками, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все усилия были тщетны. Неодолимый страх все глубже проникал в мое существо, и наконец демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием освободился от него, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную тьму, начал прислушиваться, сам не зная зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом, к тихим, неясным звукам, доносившимся неведомо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я торопливо набросил платье, ибо чувствовал, что в эту ночь не придется спать, и, пытаясь победить овладевшее мной жалкое малодушие, принялся расхаживать взад и вперед по комнате.

Сделав два-три поворота, я остановился, услышав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя он легко постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Лицом он, как всегда, напоминал труп, но на этот раз какое-то безумное веселье светилось в его глазах, – очевидно, он был в состоянии *истерии*. Вид его поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству и поэтому даже обрадовался его приходу.

– А вы еще не видели *этого*? – сказал он отрывисто, бросив вокруг себя отсутствующий взгляд. – Не видели? Так вот смотрите! – С этими словами он тщательно завесил лампу и, подбежав к окну, разом распахнул его.

Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь в своем мрачном величии была действительно великолепной. По-видимому, ураган со всей своей силой обрушился именно на усадьбу; ветер то и дело менялся, густые тучи, нависшие над замком (так низко, что казалось, будто они касаются башенок), мчались друг другу навстречу с невероятной быстротой, сталкивались друг с другом, но не удалялись на значительное расстояние.

Несмотря на то что тучи нависли сплошной черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было и молния не озаряла их своим блеском. Нижние слои туч и все окружающие предметы светились каким-то неестественным светом, который излучали газообразные испарения, видимые совершенно ясно и окутывающие весь дом.

– Вы не должны, вы не будете смотреть на это, – сказал я Эшеру, отводя его от окна ласково, но решительно. – То, что смущает вас, – довольно обыкновенные электрические явления, или, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда. Закроем окно, холодный воздух вам вреден. Вот один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте, – и мы скоротаем эту ужасную ночь.

Книга, о которой я говорил, была «Безумная надежда» сэра Ланселота Кэннинга, но мои слова о том, что это один из любимых романов Эшера, были скорее горестной шуткой, ибо неуклюжее и вялое многословие этой книги едва ли могло представлять интерес для моего друга с его возвышенным идеализмом. Как бы то ни было, но больше никакой книги под рукой не оказалось, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что самый избыток безумия, о котором я буду читать, подействует успокоительно на чрезмерно возбужденного ипохондрика (история умственных расстройств знает много подобных странностей). И точно, судя по напря-

женному вниманию, с каким он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом.

Я дошел до того места, когда Этельред, видя, что нельзя проникнуть в жилище отшельника добром, решается войти силой. Если читатель помнит, эта сцена описывается так:

«Этельред, который по природе был отважен, а к тому же находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, ибо тот был упрям и хитер, но, чувствуя, что его плечи промокли от дождя, и опасаясь, что вот-вот разразится буря, поднял свою палицу и живо пробил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в (железную) перчатку, за створки, так рванул их, что гулкий треск досок разнесся по всему лесу».

Кончив этот абзац, я вздрогнул и приостановился. Мне почудилось (впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения), – мне почудилось, будто из какой-то отдаленной части дома донеслось глухое, неясное эхо того самого звука, который так обстоятельно описан у сэра Ланселота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, ибо сам по себе звук был слишком слаб, чтобы заметить его, – буря выла и свистела, и весь дом ходил ходуном.

Я продолжал:

«Но, войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный, покрытый чешуей дракон с огненной пастью; он сидел на страже перед серебряными дверями золотого дворца, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью:

Кто в дверь сию войдет – тот замок покорит;
Дракона кто убьет – получит славный щит.

Тогда Этельред поднял палицу и ударил дракона по голове так, что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным воплем, что витязь поскорее заткнул уши, ибо никогда еще не слышал ничего подобного».

Я снова остановился – на этот раз с чувством ужаса и изумления: до меня донесся уже совершенно явственно, хоть я и не мог разобрать откуда, слабый и отдаленный, но резкий, протяжный, визгливый и скребущий звук, подобный неестественному визгу, который почудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона.

Подавленный при этом вторичном и необычном совпадении наплывом самых разнородных чувств, особенно же изумлением и ужасом, я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя обнаружил в нем странную и внезапную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я видел только часть его лица, хотя и заметил, что его губы дрожат и как будто что-то беззвучно шепчут. Голова опустилась на грудь, однако он не спал: я видел его профиль – глаз его был широко раскрыт. К тому же он не сидел спокойно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал читать рассказ сэра Ланселота:

«Избежав свирепости дракона, витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища и смело направился по серебряным плитам к стене, на которой висел щит; но щит не дождался, чтобы витязь подошел, упал и покатился к ногам Этельреда с громким и грозным звоном».

Не успел я произнести эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее явственный звон металла – точно и впрямь в эту минуту медный щит упал на серебряные плиты. Потеряв всякое самообладание, я вскочил на стуле. Я бросился к нему. Он неподвижно устался в пространство и как будто окоченел. Но, когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по всему его телу, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал что-то тороп-

ливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему – и понял наконец его безумную речь.

– Слышу ли?.. Да, я слышу... Конечно, слышу... Давным-давно... Много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел – о, горе мне, несчастному!.. – не смел... *не смел* сказать! Мы *похоронили ее живою!* Разве я не говорил, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам: я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их... много, много дней тому назад... но не смел... *не смел сказать*. А теперь... сейчас... Этельред... ха-ха!.. треск двери в келье отшельника, предсмертный вопль дракона, звон щита... скажите лучше – треск гроба, скрежет железной двери и судорожная борьба под медной аркой подвала... О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда, чтобы упрекнуть меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных ударов ее сердца? Безумец! – Тут он в бешенстве вскочил и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его отлетела вместе с этим криком: – *Безумец! Говорю вам, она стоит сейчас за дверью.*

И словно нечеловеческая сила этих слов имела власть заклинания: высокая старинная дверь медленно разомкнула свои тяжелые черные челюсти. Ее мог распахнуть порыв ветра, – но в дверях *стояла* высокая, одетая в саван фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда ее была запятнана кровью, на всем ее изможденном теле видны были следы отчаянной борьбы. С минуту она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжело рухнула на грудь брата и в судорожной, уже последней агонии увлекла за собою на пол бездыханное тело этой жертвы ужаса, предугаданного заранее.

Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Вдруг на тропинке мелькнул какой-то странный свет; я обернулся лицом к дому, желая понять, откуда свет мог появиться, так как знал, что дом погружен во мрак. Оказалось, что свет исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал, – она шла зигзагом от кровли до основания. На моих глазах трещина быстро расширилась, налетел сильный порыв урагана, полный лунный круг внезапно засверкал мне в глаза, мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами Дома Эшеров.

Вильям Вильсон

*Что скажет совесть,
Злой призрак на моем пути?
Чемберлен. Фаронида*

Позвольте мне на сей раз назваться Вильямом Вильсоном. Нет нужды пятнать своим настоящим именем чистый лист бумаги, что лежит сейчас передо мною. Имя это внушило людям слишком сильное презрение, ужас, ненависть. Ведь негодующие ветры уже разнесли по всему свету молву о неслыханном моем позоре. О, низкий из низких, всеми отринутый! Разве не потерял ты навек для всего сущего, для земных почестей, и цветов, и благородных стремлений? И разве не скрыты от тебя навек небеса бескрайней непроницаемой и мрачной завесой? Я предпочел бы, если можно, не рассказывать здесь сегодня о своей жизни в последние годы, о невыразимом моем несчастье и неслыханном злодеянии. В эту пору моей жизни, в последние эти годы я вдруг особенно преуспел в бесчестье, об истоках которого единственно и хотел здесь поведать. Негодяем человек обычно становится постепенно. С меня же вся добродетель спала в один миг, точно плащ. От сравнительно мелких прегрешений я гигантскими шагами перешел к злодействам, достойным Гелиогабала. Какой же случай, какое событие виной этому недоброму превращению? Вооружись терпением, читатель, я обо всем расскажу своим чередом.

Приближается смерть, и тень ее, неизменная ее предвестница, уже пала на меня и смягчила мою душу. Переходя в долину теней, я жажду людского сочувствия, чуть было не сказал – жалости. О, если бы мне поверили, что в какой-то мере я был рабом обстоятельств, человеку не подвластных. Пусть бы в подробностях, которые я расскажу, в пустыне заблуждений они увидели крохотный оазис рока. Пусть бы они признали, – не могут они этого не признать, – что хотя соблазны, быть может, существовали и прежде, но никогда еще человека так не искушали и, конечно, никогда он не падал так низко. И уж не потому ли никогда он так тяжело не страдал? Разве я не жил как в дурном сне? И разве умираю я не жертвой ужаса, жертвой самого непостижимого, самого безумного из всех подлунных видений?

Я принадлежу к роду, который во все времена отличался пылкостью нрава и силой воображения, и уже в раннем детстве доказал, что полностью унаследовал эти черты. С годами они проявлялись все определеннее, внушая по многим причинам серьезную тревогу моим друзьям и принося безусловный вред мне самому. Я рос своевольным сумасбродом, рабом самых диких прихотей, игрушкой необузданных страстей. Родители мои, люди недалекие и осаждаемые теми же наследственными недугами, что и я, не способны были пресечь мои дурные наклонности. Немногие робкие и неумелые их попытки окончились совершеннейшей неудачей и, разумеется, полным моим торжеством. С тех пор слово мое стало законом для всех в доме, и в том возрасте, когда ребенка обыкновенно еще водят на помочах, я был всецело предоставлен самому себе и всегда и во всем поступал как мне заблагорассудится.

Самые ранние мои школьные воспоминания связаны с большим, несуразно построенным домом времен королевы Елизаветы, в туманном сельском уголке, где росло множество могучих пишковых деревьев и все дома были очень старые. Почтенное и древнее селение это было местом поистине сказочно мирным и безмятежным. Вот я пишу сейчас о нем и вновь ощущаю свежесть и прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат цветущего кустарника и вновь трепещу от неизъяснимого восторга, заслышав глухой и низкий звон церковного колокола, что каждый час неожиданно и гулко будит тишину и сумрак погруженной в дрему готической резной колокольни.

Я перебираю в памяти мельчайшие подробности школьной жизни, всего, что с ней связано, и воспоминания эти радуют меня, насколько я еще способен радоваться. Погруженному в

пучину страдания, страдания, увы! слишком неподдельного, мне простятся поиски утешения, пусть слабого и мимолетного, в случайных беспорядочных подробностях. Подробности эти, хотя и весьма обыденные и даже смешные сами по себе, особенно для меня важны, ибо они связаны с той порою, когда я различил первые неясные предостережения судьбы, что позднее полностью мною завладела, с тем местом, где все это началось. Итак, позвольте мне перейти к воспоминаниям.

Дом, как я уже сказал, был старый и нескладный. Двор – обширный, окруженный со всех сторон высокой и массивной кирпичной оградой, верх которой был утыкан битым стеклом.

Эти совсем тюремные стены ограничивали наши владения, мы выходили за них всего трижды в неделю – по субботам после полудня, когда нам разрешали выйти всем вместе в сопровождении двух наставников на недолгую прогулку по соседним полям, и дважды по воскресеньям, когда нас, также строем, водили к утренней и вечерней службе в сельскую церковь. Священником в этой церкви был директор нашего пансиона. В каком глубоком изумлении, в каком смущении пребывала моя душа, когда с нашей далекой скамьи на хорах я смотрел, как медленно и величественно он поднимается на церковную кафедру! Неужто этот почтенный проповедник, с лицом столь благолепно милостивым, в облачении столь пышном, столь торжественно ниспадающем до полу, – в парике, напудренном столь тщательно, таком большом и внушительном, – неужто это он, только что сердитый и угрюмый, в обсыпанном нюхательным табаком сюртуке, с линейкой в руках, творил суд и расправу по драконовским законам нашего заведения? О, безмерное противоречие, ужасное в своей непостижимости!

Из угла массивной ограды, насупясь, глядели еще более массивные ворота. Они были усажены множеством железных болтов и увенчаны острыми железными зубьями. Какой глубокий благоговейный страх они внушали! Они всегда были на запоре, кроме тех трех наших выходов, о которых уже говорилось, и тогда в каждой скрипе их могучих петель нам чудились всевозможные тайны – мы находили великое множество поводов для сумрачных замечаний и еще более сумрачных раздумий.

Владения наши имели неправильную форму, и там было много уединенных площадок. Три-четыре самые большие предназначались для игр. Они были ровные, посыпаны крупным песком и хорошо утрамбованы. Помню, там не было ни деревьев, ни скамеек, ничего. И располагались они, разумеется, за домом. А перед домом был разбит небольшой цветник, обсаженный вечнозеленым самшитом и другим кустарником, но по этой запретной земле мы проходили только в самых редких случаях – когда впервые приезжали в школу, или навсегда ее покидали, или, быть может, когда за нами заезжали родители или друзья и мы радостно отправлялись под отчий кров на Рождество или на летние каникулы.

Но дом! какое же это было причудливое старое здание! Мне он казался поистине заколдованным замком! Сколько там было всевозможных запутанных переходов, сколько самых неожиданных уголков и закоулков. Там никогда нельзя было сказать с уверенностью, на каком из двух этажей вы сейчас находитесь. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, надо было непременно подняться или спуститься по двум или трем ступенькам. Коридоров там было великое множество, и они так разветвлялись и петляли, что, сколько ни пытались мы представить себе в точности расположение комнат в нашем доме, представление это получалось не отчетливей, чем наше понятие о бесконечности. За те пять лет, что я провел там, я так и не сумел точно определить, в каком именно отдаленном уголке расположен тесный дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати или двадцати делившим его со мной ученикам.

Классная комната была самая большая в здании и, как мне тогда казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая, с гнетуще низким дубовым потолком и стрельчатыми готическими окнами. В дальнем, внушающем страх углу было отгорожено помещение футов в восемь-десять – кабинет нашего директора, преподобного доктора Брэнсби. И в отсутствие хозяина мы куда охотней погибли бы под самыми страшными пытками, чем переступили бы

порог этой комнаты, отделенной от нас массивной дверью. Два других угла были тоже отгорожены, и мы взирали на них с куда меньшим почтением, но, однако же, с благоговейным страхом. В одном пребывал наш преподаватель древних языков и литературы, в другом – учитель английского языка и математики. По всей комнате, вдоль и поперек, в беспорядке стояли многочисленные скамейки и парты – черные, ветхие, заваленные горами захватанных книг и до того изуродованные инициалами, полными именами, нелепыми фигурами и множеством иных проб перочинного ножа, что они вовсе лишились своего первоначального, хоть сколько-нибудь пристойного вида. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водой, в другом – весьма внушительных размеров часы.

В массивных стенах этого почтенного заведения я провел (притом без скуки и отвращения) третье пятилетие своей жизни. Голова ребенка всегда полна; чтобы занять его или развлечь, вовсе не требуются события внешнего мира, и унылое однообразие школьного бытия было насыщено для меня куда более напряженными волнениями, чем те, какие в юности я черпал из роскоши, а в зрелые годы – из преступления. Однако в моем духовном развитии ранней поры было, по-видимому, что-то необычное, что-то *outré*²¹. События самых ранних лет жизни редко оставляют в нашей душе столь заметный след, чтобы он сохранился и в зрелые годы. Они превращаются обычно лишь в серую дымку, в неясное беспорядочное воспоминание – смутное скопище малых радостей и невообразимых страданий. У меня же все по-иному. Должно быть, в детстве мои чувства силою не уступали чувствам взрослого человека, и в памяти моей все события запечатлелись столь же отчетливо, глубоко и прочно, как надписи на карфагенских монетах.

Однако же, с общепринятой точки зрения, как мало во всем этом такого, что стоит помнить! Утреннее пробуждение, ежевечерние призывы ко сну; зубрежка, ответы у доски; праздничные дни; прогулки; площадка для игр – стычки, забавы, обиды и козни; все это, по волшебной и давно уже забытой магии духа, в ту пору порождало множество чувств, богатый событиями мир, вселенную разнообразных переживаний, волнений самых пылких и будоражающих душу. «*O le bon temps, que ce siècle de fer!*»²²

И в самом деле, пылкость, восторженность и властность моей натуры вскоре выделили меня среди моих одноклассников и неспешно, но с вполне естественной неуклонностью подчинили мне всех, кто был немногим старше меня годами, – всех, за исключением одного. Исключением этим оказался ученик, который, хотя и не состоял со мною в родстве, звался, однако, так же, как и я, – обстоятельство само по себе мало примечательное, ибо, хотя я и происхожу из рода знатного, имя и фамилия у меня самые заурядные, каковые – так уж повелось с незапамятных времен – всегда были достоянием простолюдинов. Оттого в рассказе моем я назвался Вильямом Вильсоном, – вымышленное это имя очень схоже с моим настоящим. Среди тех, кто, выражаясь школьным языком, входил в «нашу компанию», единственно мой тезка позволял себе соперничать со мною в классе, в играх и стычках на площадке, позволял себе сомневаться в моих суждениях и не подчиняться моей воле – иными словами, во всем, в чем только мог, становился помехой моим деспотическим капризам. Если существует на свете крайняя, неограниченная власть, – это власть сильной личности над более податливыми натурами сверстников в годы отрочества.

Бунтарство Вильсона было для меня источником величайших огорчений; в особенности же оттого, что, хотя на людях я взял себе за правило пренебрегать им и его притязаниями, втайне я его страшился, ибо не мог не думать, что легкость, с какою он оказывался со мною вровень, означала истинное его превосходство, ибо первенство давалось мне нелегко. И, однако, его превосходства или хотя бы равенства не замечал никто, кроме меня; товарищи

²¹ Преувеличенное (*фр.*).

²² О дивная пора – железный этот век! (*фр.*)

наши по странной слепоте, казалось, об этом и не подозревали. Соперничество его, противодействие и в особенности дерзкое и упрямое стремление помешать были скрыты от всех глаз и явственны для меня лишь одного. По-видимому, он равно лишен был и честолюбия, которое побуждало меня к действию, и страстного нетерпения ума, которое помогало мне выделиться. Можно было предположить, что соперничество его вызывалось единственно прихотью, желанием перечить мне, поразить меня или уязвить; хотя, случалось, я замечал со смешанным чувством удивления, унижения и досады, что, когда он и прекословил мне, язви́л и оскорблял меня, во всем этом сквозила некая совсем уж неуместная и непрошенная нежность. Странность эта проистекала, на мой взгляд, из редкостной самонадеянности, принявшей вид снисходительного покровительства и попечения.

Быть может, именно эта черта в поведении Вильсона вместе с одинаковой фамилией и с простой случайностью, по которой оба мы появились в школе в один и тот же день, навела старший класс нашего заведения на мысль, будто мы братья. Старшие ведь обыкновенно не очень-то вникают в дела младших. Я уже сказал или должен был сказать, что Вильсон не состоял с моим семейством ни в каком родстве, даже самом отдаленном. Но будь мы братья, мы бы, несомненно, должны были быть близнецами; ибо уже после того, как я покинул заведение мистера Брэнсби, я случайно узнал, что тезка мой родился девятнадцатого января 1813 года, – весьма замечательное совпадение, ибо в этот самый день появился на свет и я.

Может показаться странным, что, хотя соперничество Вильсона и присущий ему несносный дух противоречия постоянно мне досаждали, я не мог заставить себя окончательно его возненавидеть. Почти всякий день меж нами вспыхивали ссоры, и, публично вручая мне пальму первенства, он каким-то образом ухитрялся заставить меня почувствовать, что на самом деле она по праву принадлежит ему; но свойственная мне гордость и присущее ему подлинное чувство собственного достоинства способствовали тому, что мы, так сказать, «не раззнакомились», однако же нравом мы во многом были схожи, и это вызывало во мне чувство, которому, быть может, одно только необычное положение наше мешало обратиться в дружбу. Поистине нелегко определить или хотя бы описать чувства, которые я к нему питал. Они составляли пеструю и разнородную смесь: доля раздражительной враждебности, которая еще не стала ненавистью, доля уважения, большая доля почтения, немало страха и бездна тревожного любопытства. Знаток человеческой души и без дополнительных объяснений поймет, что мы с Вильсоном были поистине неразлучны.

Без сомнения, как раз причудливость наших отношений направляла все мои нападки на него (а было их множество – и открытых и завуалированных) в русло подтрунивания или грубоватых шуток (которые разыгрывались словно бы ради забавы, однако все равно больно ранили) и не давала отношениям этим вылиться в открытую враждебность. Но усилия мои отнюдь не всегда увенчивались успехом, даже если и придумано все было наиостроумнейшим образом, ибо моему тезке присуща была та спокойная непритязательная сдержанность, у которой не сыщешь ахиллесовой пяты, и поэтому, радуясь остроте своих собственных шуток, он оставлял мои совершенно без внимания. Мне удалось обнаружить у него лишь одно уязвимое место, но то было особое его свойство, вызванное, вероятно, каким-то органическим заболеванием, и воспользоваться этим мог лишь такой зашедший в тупик противник, как я: у соперника моего были, видимо, слабые голосовые связки, и он не мог говорить громко, а только еле слышным шепотом. И уж я не упускал самого ничтожного случая отыгаться на его недостатке.

Вильсон находил множество случаев отплатить мне, но один из его остроумных способов досаждал мне всего более. Как ему удалось угадать, что такой пустяк может меня бесить, ума не приложу; но, однажды поняв это, он пользовался всякою возможностью мне досадить. Я всегда питал неприязнь к моей неизысканной фамилии и к чересчур заурядному, если не плебейскому, имени. Они были ядом для моего слуха, и когда в день моего прибытия в пансион там появился второй Вильям Вильсон, я разозлился на него за то, что он носит это имя,

и вдвойне вознегодовал на имя за то, что его носит кто-то еще, отчего его станут повторять вдвое чаще, а тот, кому оно принадлежит, постоянно будет у меня перед глазами, и поступки его, неизбежные и привычные в повседневной школьной жизни, из-за отвратительного этого совпадения будут часто путать с моими.

Порожденная таким образом досада еще усиливалась всякий раз, когда случай явственно показывал внутреннее или внешнее сходство меж моим соперником и мною. В ту пору я еще не обнаружил того примечательного обстоятельства, что мы были с ним одних лет; но я видел, что мы одного роста, и замечал также, что мы на редкость схожи телосложением и чертами лица. К тому же я был уязвлен слухом, будто мы с ним в родстве, который распространился среди учеников старших классов. Коротко говоря, ничто не могло сильнее меня задеть (хотя я тщательно это скрывал), нежели любое упоминание о сходстве наших душ, наружности или обстоятельств. Но, сказать по правде, у меня не было причин думать, что сходство это обсуждали или хотя бы замечали мои товарищи; говорили только о нашем родстве. А вот Вильсон явно замечал это во всех проявлениях, и притом столь же ревниво, как я; к тому же он оказался на редкость изобретателен на колкости и насмешки – это свидетельствовало, как я уже говорил, об его удивительной проницательности.

Его тактика состояла в том, чтобы возможно точнее подражать мне и в речах и в поступках; и здесь он достиг совершенства. Скопировать мое платье ничего не стоило; походку мою и манеру держать себя он усвоил без труда; и, несмотря на присущий ему органический недостаток, ему удавалось подражать даже моему голосу. Громко говорить он, разумеется, не мог, но интонация была та же; и сам его своеобразный шепот стал поистине моим эхом.

Какие же муки причинял мне превосходный этот портрет (ибо по справедливости его никак нельзя было назвать карикатурой), мне даже сейчас не описать. Одно только меня утешало, – что подражание это замечал единственно я сам и терпеть мне приходилось многозначительные и странно язвительные улыбки одного только моего тезки. Удовлетворенный тем, что вызвал в душе моей те самые чувства, какие желал, он, казалось, втайне радовался, что причинил мне боль, и решительно не ждал бурных аплодисментов, какие с легкостью мог принести ему его остроумно достигнутый успех. Но долгие беспокойные месяцы для меня оставались неразрешимой загадкой, как же случилось, что в пансионе никто не понял его намерений, не оценил действий, а стало быть, не глумился с ним вместе. Возможно, постепенность, с которой он подделывался под меня, мешала остальным заметить, что происходит, или – это более вероятно – своею безопасностью я был обязан искусству подражателя, который полностью пренебрег чисто внешним сходством (а только его и замечают в портретах люди туповатые), зато, к немалой моей досаде, мастерски воспроизводил дух оригинала, что видно было мне одному.

Я уже не раз упоминал об отвратительном мне покровительственном тоне, который он взял в отношении меня, и о его частом назойливом вмешательстве в мои дела. Вмешательство его нередко выражалось в непрошенных советах; при этом он не советовал прямо и открыто, но говорил намеками, обиняками. Я выслушивал эти советы с отвращением, которое год от году росло. Однако ныне, в столь далекий от той поры день, я хотел бы отдать должное моему сопернику, признать хотя бы, что ни один его совет не мог бы привести меня к тем ошибкам и глупостям, какие столь свойственны людям молодым и, казалось бы, неопытным; что нравственным чутьем, если не талантливостью натуры и жизненной умудренностью, он, во всяком случае, намного меня превосходил и что, если бы я не так часто отвергал его советы, сообщаемые тем многозначительным шепотом, который тогда я слишком горячо ненавидел и слишком ожесточенно презирал, я, возможно, был бы сегодня лучше, а значит, и счастливей.

Но при том, как все складывалось, под его постылым надзором я в конце концов дошел до крайней степени раздражения и день ото дня все более открыто возмущался его, как мне казалось, несносной самонадеянностью. Я уже говорил, что в первые годы в школе чувство мое к нему легко могло бы перерасти в дружбу; но в последние школьные месяцы, хотя навяз-

чивость его, без сомнения, несколько уменьшилась, чувство мое почти в той же степени приблизилось к настоящей ненависти. Как-то раз он, мне кажется, это заметил и после того стал избегать меня или делал вид, что избегает.

Если память мне не изменяет, примерно в это же самое время мы однажды крупно поспорили, и в пылу гнева он отбросил привычную осторожность и заговорил, и повел себя с несвойственной ему прямоотой – и тут я заметил (а может быть, мне почудилось) в его речи, выражении лица, во всем облике нечто такое, что сперва испугало меня, а потом живо заинтересовало, ибо в памяти моей всплыли картины младенчества, – беспорядочно теснящиеся смутные воспоминания той далекой поры, когда сама память еще не родилась. Лучше всего я передам чувство, которое угнетало меня в тот миг, если скажу, что не мог отделаться от ощущения, будто с человеком, который стоял сейчас передо мною, я был уже когда-то знаком, давным-давно, во времена бесконечно далекие. Иллюзия эта, однако, тотчас же рассеялась; и упоминаю я о ней единственно для того, чтобы обозначить день, когда я в последний раз беседовал со своим странным тезкой.

В громадном старом доме, с его бесчисленными помещениями, было несколько смежных больших комнат, где спали почти все воспитанники. Было там, однако (это неизбежно в столь неудобно построенном здании), много каморок, образованных не слишком разумно возведенными стенами и перегородками, изобретательный директор доктор Брэнсби их тоже приспособил под дортуары, хотя первоначально они предназначались под чуланы и каждый мог вместить лишь одного человека. В такой вот спальне помещался Вильсон.

Однажды ночью, в конце пятого года пребывания в пансионе и сразу после только что описанной ссоры, я дождался, когда все погрузилось в сон, встал и с лампой в руке, узкими запутанными переходами прокрался из своей спальни в спальню соперника. Я уже давно замыслил сыграть с ним одну из тех злых и грубых шуток, какие до сих пор мне неизменно не удавались. И вот теперь я решил осуществить свой замысел и дать ему почувствовать всю меру переполнявшей меня злобы. Добравшись до его каморки, я оставил прикрытую колпаком лампу за дверью, а сам бесшумно переступил порог. Я шагнул вперед и прислушался к спокойному дыханию моего тезки. Уверившись, что он спит, я возвратился в коридор, взял лампу и с нею вновь приблизился к постели. Она была завешена плотным пологом, который, следуя своему плану, я потихоньку отодвинул, – лицо спящего залил яркий свет, и я впился в него взором. Я взглянул – и вдруг оцепенел, меня обдало холодом. Грудь моя тяжело вздымалась, колени задрожали, меня объял беспричинный и, однако, нестерпимый ужас. Я перевел дух и поднес лампу еще ближе к его лицу. Неужели это... это лицо Вильяма Вильсона? Я, конечно, видел, что это его лицо, и все же не мог этому поверить, и меня била лихорадочная дрожь. Что же в этом лице так меня поразило? Я смотрел, а в голове моей кружился вихрь беспорядочных мыслей. Когда он бодрствовал, в суете дня, он был не такой, как сейчас, нет, конечно, не такой. То же имя! те же черты! тот же день прибытия в пансион! Да еще упорное и бессмысленное подражание моей походке, голосу, моим привычкам и повадкам! Неужели то, что представилось моему взору, – всего лишь следствие привычных упражнений в язвительном подражании? Охваченный ужасом, я с трепетом погасил лампу, бесшумно выскользнул из каморки и в тот же час покинул стены старого пансиона, чтобы уже никогда туда не возвращаться.

После нескольких месяцев, проведенных дома в совершенной праздности, я был определен в Итон. Короткого этого времени оказалось довольно, чтобы память о событиях, происшедших в пансионе доктора Брэнсби, потускнела, по крайней мере, я вспоминал о них с совсем иными чувствами. Все это больше не казалось таким подлинным и таким трагичным. Я уже способен был усомниться в свидетельстве своих чувств, да и вспоминал все это не часто, и всякий раз удивлялся человеческому легковерию, и с улыбкой думал о том, сколь живое воображение я унаследовал от предков. Характер жизни, которую я вел в Итоне, несколько не способствовал тому, чтобы у меня поубавилось подобного скептицизма. Водоворот безрассудств и

легкомысленных развлечений, в который я кинулся так сразу, очертя голову, мгновенно смыл все, кроме пены последних часов, поглотил все серьезные, устоявшиеся впечатления и оставил в памяти лишь пустые сумасбродства прежнего моего существования.

Я не желаю, однако, описывать шаг за шагом прискорбное распутство, предаваясь которому мы бросали вызов всем законам и ускользали от строгого ока нашего колледжа. Три года безрассудств протекли без пользы, у меня лишь укоренились порочные привычки, да я еще как-то вдруг вырос и стал очень высок ростом; и вот однажды после недели бесшабашного разгула я пригласил к себе на тайную пирушку небольшую компанию самых беспутных своих приятелей. Мы собрались поздним вечером, ибо так уж у нас было заведено, чтобы попойки затягивались до утра. Вино лилось рекой, и в других, быть может более опасных, соблазнах тоже не было недостатка; так что, когда на востоке стал пробиваться хмурый рассвет, сумасбродная наша попойка была еще в самом разгаре. Отчаянно покрасневшись от карт и вина, я упрямо провозглашал тост, более обыкновенного богохульный, как вдруг внимание мое отвлекла порывисто открывшаяся дверь и встревоженный голос моего слуги. Не входя в комнату, он доложил, что какой-то человек, который очень торопится, желает говорить со мною в прихожей.

Крайне возбужденный выпитым вином, я скорее обрадовался, нежели удивился неожиданному гостю. Нетвердыми шагами я тотчас вышел в прихожую. В этом тесном помещении с низким потолком не было лампы; и сейчас сюда не проникал никакой свет, лишь серый свет утра пробивался через полукруглое окно. Едва переступив порог, я увидел юношу примерно моего роста, в белом казиминовом сюртуке такого же новомодного покроя, что и тот, как был на мне. Только это я и заметил в полутьме, но лица гостя разглядеть не мог. Когда я вошел, он поспешно шагнул мне навстречу, порывисто и нетерпеливо схватил меня за руку и прошептал мне в самое ухо два слова: «Вильям Вильсон».

Я мигом отрезвел.

В повадке незнакомца, в том, как задрожал у меня перед глазами его поднятый палец, было что-то такое, что безмерно меня удивило, но не это взволновало меня до глубины души. Мрачное предостережение, что таилось в его своеобразном, тихом, шипящем шепоте, а более всего то, как он произнес эти несколько простых и знакомых слогов, его тон, самая интонация, всколыхнувшая в душе моей тысячи бессвязных воспоминаний из давнего прошлого, ударили меня, точно я коснулся гальванической батареи. И еще прежде, чем я пришел в себя, гостя и след простыл.

Хотя случай этот сильно подействовал на мое расстроенное воображение, однако же впечатление от него быстро рассеялось. Правда, первые несколько недель я всерьез наводил справки либо предавался мрачным раздумьям. Я не пытался утаить от себя, что это все та же личность, которая столь упорно мешалась в мои дела и допекала меня своими вкрадчивыми советами. Но кто такой этот Вильсон? Откуда он взялся? Какую преследовал цель? Ни на один вопрос я ответа не нашел, знал лишь, что в вечер того дня, когда я скрылся из заведения доктора Брэнсби, он тоже оттуда уехал, ибо дома у него случилось какое-то несчастье. А вскорости я совсем перестал о нем думать, ибо мое внимание поглотил предполагаемый отъезд в Оксфорд. Туда я скоро и в самом деле отправился, а нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня таким гардеробом и годовым содержанием, что я мог купаться в роскоши, столь уже дорогой моему сердцу, – соперничать в расточительстве с высокомернейшими наследниками самых богатых и знатных семейств Великобритании.

Теперь я мог грешить, не зная удержу, необузданно предаваться пороку, и пылкий нрав мой разыграл с удвоенной силой, – с презрением отбросив все приличия, я кинулся в омут разгула. Но нелепо было бы рассказывать здесь в подробностях обо всех моих сумасбродствах. Довольно будет сказать, что я всех превзошел в мотовстве и изобрел множество новых

безумств, которые составили немалое дополнение к длинному списку пороков, каковыми славились питомцы этого по всей Европе известного своей распущенностью университета.

Вы с трудом поверите, что здесь я пал столь низко, что свел знакомство с профессиональными игроками, перенял у них самые наиподлейшие приемы и, преуспев в этой презренной науке, стал пользоваться ею как источником увеличения и без того огромного моего дохода за счет доверчивых собутыльников. И, однако же, это правда. Преступление мое против всего, что в человеке мужественно и благородно, было слишком чудовищным – и, может быть, лишь поэтому оставалось безнаказанным. Что и говорить, любой, самый распутный мой сотоварищ скорее усомнился бы в явственных свидетельствах своих чувств, нежели заподозрил в подобных действиях веселого, чистосердечного, щедрого Вильяма Вильсона – самого благородного и самого великодушного студента во всем Оксфорде, чьи безрассудства (как выражались мои прихлебатели) были единственно безрассудствами юности и необузданного воображения, чьи ошибки всего лишь неподражаемая прихоть, чьи самые непростимые пороки не более как беспечное и лихое сумасбродство.

Уже два года я успешно следовал этим путем, когда в университете нашем появился молодой выскочка из новой знати, по имени Гленденнинг, – по слухам, богатый, как сам Ирод Аттик, и столь же легко получивший свое богатство. Скоро я понял, что он не блещет умом, и, разумеется, счел его подходящей для меня добычей. Я часто вовлекал его в игру и, подобно всем нечистым на руку игрокам, позволял ему выигрывать изрядные суммы, чтобы тем вернее заманить в мои сети. Основательно обдумав все до мелочей, я решил, что пора наконец привести в исполнение мой замысел, и мы встретились с ним на квартире нашего общего приятеля-студента (мистера Престона), который, надо признаться, даже и не подозревал о моем намерении. Я хотел придать всему вид самый естественный и потому заранее позаботился, чтобы предложение играть выглядело словно бы случайным и исходило от того самого человека, которого я замыслил обобрать. Не стану распространяться о мерзком этом предмете, скажу только, что в тот вечер не было упущено ни одно из гнусных ухищрений, ставших столь привычными в подобных случаях; право же, непостижимо, как еще находятся простаки, которые становятся их жертвами.

Мы засиделись до глубокой ночи, и мне наконец удалось так все подстроить, что выскочка Гленденнинг оказался единственным моим противником. Притом игра шла моя излюбленная – экарте. Все прочие, заинтересовавшись размахом нашего поединка, побросали карты и столпились вокруг нас. Гленденнинг, который в начале вечера благодаря моим уловкам сильно выпил, теперь тасовал, сдавал и играл в таком неистовом волнении, что это лишь отчасти можно было объяснить воздействием вина. В самом непродолжительном времени он был уже моим должником на круглую сумму, и тут, отпив большой глоток портвейна, он сделал именно то, к чему я хладнокровно вел его весь вечер, – предложил удвоить наши и без того непомерные ставки. С хорошо разыгранной неохотой и только после того, как я дважды отказался и тем заставил его погорячиться, я наконец согласился, всем своим видом давая понять, что лишь уступаю его гневной настойчивости. Жертва моя повела себя в точности так, как я и предвидел: не прошло и часу, как долг Гленденнинга возрос вчетверо. Еще до того с лица его постепенно сходил румянец, сообщенный вином, но тут он, к моему удивлению, страшно побледнел. Я сказал: к моему удивлению. Ибо заранее с пристрастием расспросил всех, кого удалось, и все уверяли, что он безмерно богат, а проигрыш его, хоть и немалый сам по себе, не мог, на мой взгляд, серьезно его огорчить и уж того более – так потрясти. Сперва мне пришло в голову, что всему виною недавно выпитый портвейн. И, скорее желая сохранить свое доброе имя, нежели из иных, менее корыстных видов, я уже хотел прекратить игру, как вдруг чьи-то слова за мою спиной и полный отчаяния возглас Гленденнинга дали мне понять, что я совершенно его разорил, да еще при обстоятельствах, которые, сделав его предметом всеобщего сочувствия, защитили бы и от самого отъявленного злодея.

Как мне теперь следовало себя вести, сказать трудно. Жалкое положение моей жертвы привело всех в растерянность и уныние; на время в комнате установилась глубокая тишина, и я чувствовал, как под множеством горящих презрением и упреком взглядов моих менее испорченных товарищей щеки мои запылали. Признаюсь даже, что, когда эта гнетущая тишина была внезапно и странно нарушена, нестерпимая тяжесть на краткий миг упала с моей души. Массивные створчатые двери вдруг распахнулись с такой силой и так быстро, что все свечи в комнате, точно по волшебству, разом погасли. Но еще прежде, чем воцарилась тьма, мы успели заметить, что на пороге появился незнакомец примерно моего роста, окутанный плащом. Тьма, однако, стала такая густая, что мы лишь ощущали его присутствие среди нас. Мы еще не успели прийти в себя, ошеломленные грубым вторжением, как вдруг раздался голос незваного гостя.

– Господа, – произнес он глухим, отчетливым и незабываемым шепотом, от которого дрожь пробрала меня до мозга костей, – господа, прошу извинить меня за бесцеремонность, но мною движет долг. Вы, без сомнения, не осведомлены об истинном лице человека, который выиграл нынче вечером в экарте крупную сумму у лорда Гленденнинга. А потому я позволю себе предложить вам скорый и убедительный способ получить эти весьма важные сведения. Благоволите осмотреть подкладку его левой манжеты и те пакетики, которые, надо полагать, вы обнаружите в довольно поместительных карманах его сюртука.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.